Константин
МОЧУЛЬСКИЙ

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ГОГОЛЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гоголь был не только великим художником: он был и учителем нравственности, и христианским подвижником, и мистиком.

Историю этого Гоголя мы и пытаемся рассказать, пользуясь как материалами перепиской, религиозно-нравственными сочинениями Гоголя и свидетельствами современников; эстетическая оценка художественных произведений автора «Мертвых душ» не входит в нашу задачу: мы привлекаем их к рассмотрению только как психологические и идеологические документы.

- К.В. Мочульский
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

К.В. Мочульский
Духовный путь Гоголя

1
Предисловие

«Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», — писал Гоголь матери в 1844 году.

Исполнили ли биографы Гоголя это пожелание? Оценили ли по справедливости его религиозный подвиг, то «прочное дело жизни», которое писатель считал важнее своего литературного творчества? Можно с разных точек зрения подходить к жизненной задаче, поставленной Гоголем; можно сочувствовать ей или ее оспаривать, но игнорировать ее нельзя.

Гоголь был не только великим художником: он был и учителем нравственности, и христианским подвижником, и мистиком.

Историю этого Гоголя мы и пытаемся рассказать, пользуясь как материалами перепиской, религиозно-нравственными сочинениями Гоголя и свидетельствами современников; эстетическая оценка художественных произведений автора «Мертвых душ» не входит в нашу задачу: мы привлекаем их к рассмотрению только как психологические и идеологические документы.

До сих пор в литературе о Гоголе повторяется или молчаливо допускается мнение, что призвание его было исключительно литературное, что, «ударившись в мистику», он загубил свой талант и «занялся не своим делом», что весь духовный путь писателя был одним прискорбным недоразумением. Но почему же религиозно-нравственные идеи Гоголя легли в основу «учительства» всей великой русской литературы и почему значительность его христианского пути с каждым годом раскрывается нам все яснее?

После пережитого нами опыта войны и революции мы другими глазами смотрим на Гоголя — «мученика христианства», как назвал его С. Т. Аксаков; и по-новому звучат для нас слова его Завещания:

> «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом».

Париж, 29 октября 1933 г.

2
Детство

Гоголь происходил из старинного малороссийского рода, временно уклонившегося в католичество. Его прадед, уже православный, был священником. Дед, Афанасий Демьянович, — бурсак, «на кондиции» похитивший дочь помещика Лизогуба, Татьяну Семеновну, и получивший нобилитацию в 1788 году. В семье Лизогубов — напряженная религиозность, наследственный мистицизм.

Отец Гоголя, автор народных фарсов на малороссийском языке, режиссер и главный актер любительского театра в имении екатерининского вельможи Д. П. Трощинского, передал сыну свой юмор и литературную одаренность. Но он умер, когда Гоголю было всего 16 лет. С девятилетнего возраста мальчик живет не дома, учится сначалав Полтаве, потом в Нежине. Отца он знает мало и в своем душевном развитии от него не зависит. Когда отец умирает в 1825 году, он пишет матери соболезнующее письмо в эффектно-риторическом стиле; это — сентиментально-романтическая декларация на тему сыновней любви и скорби. Но едва ли Гоголь любил отца.

Мать Гоголя, Марья Ивановна, — женщина набожная, суеверная, со странностями. С. Т. Аксаков говорит о ней, как о «добром, нежном, любящем существе, полном эстетического чувства, с легким оттенком кроткого юмора». Это — светлая сторона ее образа. Но есть и темная. Марья Ивановна была больна страхом. Ее искренняя и подлинная религиозность окрашена боязнью надвигающихся бедствий и смерти. Она верила в Промысл и трепетала перед злыми духами. Счастливая семейная жизнь ее началась с мистического видения. «Выдали меня четырнадцати лет, — вспоминает мать Гоголя, — за моего доброго мужа, в семи верстах живущего от моих родителей. Ему указала меня Царица Небесная, во сне являясь ему». Всю свою жизнь Марья Ивановна прожила в необъяснимых, мучительных тревогах. Ее мнительность, подозрительность, недоверчивость были унаследованы Гоголем. «Жизнь моя была самая спокойная, — рассказывает она, — характер у меня и у мужа был веселый. Мы окружены были добрыми соседями. Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастия, верила снам». Это место из «Записок» Марьи Ивановны подтверждается следующим свидетельством современника: «Иногда Марья Ивановна, не сходя с места целые часы, думала

неизвестно о чем. В такие минуты самое выражение лица ее изменялось: из доброго и приветливого оно становилось каким-то безжизненным: видно было, что мысли ее блуждают далеко. С мужем она очень сходилась в мнительности; по самому ничтожному поводу ей представлялись нередко большие страхи и беспокойства. От этой же причины она отличалась крайней подозрительностью…»

Гоголь похож на свою мать: то веселый и жизнерадостный, то «безжизненный», как будто с детства запуганный и испугавшийся на всю жизнь.

Помещичий быт в Васильевке, напоминавший мир Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, отличался обрядовой, патриархальной религиозностью. Ребенка Гоголя водили в церковь, возили по богомольям в Диканьку, Булищи, Лубны, заставляли поститься и слушать чтение Четьи-Миней. Впоследствии он резко осудил религиозное воспитание, полученное им в детстве:

«К несчастью, родители редко бывают хорошими воспитателями детей своих…На все я глядел бесстрастными глазами; я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился, потому что видел, что все крестятся».

Гоголь не принадлежал к тем избранным, которые рождаются с любовью к Богу; патриархальная религиозность, окружавшая его детство, осталась ему чуждой и даже враждебной. Вера должна была прийти к нему другим путем — не от любви, а от страха. Вот как зародилось в душе его религиозное чувство.

«Один раз, — пишет Гоголь матери, — я живо, как теперь, помню этот случай — я просил Вас рассказать мне о Страшном Суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

Конечно, в этом рассказе ударение падает не на описание наград за добродетель, а на изображение мук грешников. Страшная картина, нарисованная болезненным воображением мистически одаренной матери, «потрясла» Гоголя. Об этом потрясении он уже никогда не забудет; его религиозное сознание вырастет из сурового образа Возмездия.

Рассказ Марьи Ивановны встретил подготовленную почву: Гоголь рос слабым, впечатлительным и неуравновешенным

ребенком. Картина Страшного Суда позволила оформиться смутным страхам, которые мучили его с детских лет. И раньше он уже испытывал припадки стихийного ужаса, приливы непонятной тоски. Теперь он знал, чего боится: смерти и наказания за гробом.

В «Старосветских помещиках» Гоголь с необыкновенной силой описывает свой мистический опыт детских лет.

«Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует немедленно смерть. Признаюсь, мне всегда *был страшен* этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный: ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечики в это время переставали кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так *испугался* ее, как этой *ужасной* тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с *величайшим страхом* и занимавшимся дыханием из саду и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял *эту страшную сердечную пустыню*».

В душе Гоголя первичны переживание космического ужаса и стихийный страх смерти; и на этой языческой основе христианство воспринимается им как религия греха и возмездия.

3
Лицей

В 1821 году Гоголь поступает в нежинскую гимназию высших наук и проводит в ней семь лет. Отрочество его — время сложной и глубокой внутренней работы. К сожалению, об этом периоде нам приходится судить только по письмам его к родным, а это — источник недостаточный и недостоверный; недостаточный потому, что Гоголь — замкнутая и скрытная натура и о самом значительном или сообщает намеками, или совсем умалчивает; с матерью он не откровенен; недостоверный потому, что письма Гоголя никогда не отражают точно его душевного состояния. Образ его, преломляясь в переписке, претерпевает двойное искажение: литературной манеры и психологической позы. Гоголь в двадцатые годы зачитывается романтическими журналами, усваивает модную фразеологию и видит себя в образе Рене и Чайльд-Гарольда: он загадочный, одинокий и гонимый светом мечтатель. «Я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно… — пишет Гоголь матери в 1828 году. — Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп».

А вот и обязательные «гонения света»: «Я больше испытал горя и нужды, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания» (к матери, 1828 г.). Где в этих признаниях кончается литература и начинается действительность? Жизнь и фантазия так переплетены в душе Гоголя, что разделить их невозможно. Юный автор если и обманывает других, то прежде всего обманывая самого себя. Он действительно чувствует себя романтическим героем, хотя, конечно, никакого горя, никаких несправедливостей и презрения не испытал. Правда, товарищи поддразнивали замкнутого, заносчивого и неряшливого юношу, но любили его и добродушно переносили его насмешки и приставания.

«Товарищи его любили, — пишет самый близкий лицейский друг Гоголя А. С. Данилевский, — но называли «таинственный

карла». Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища. Над ним много смеялись, трунили». У Гоголя было два-три приятеля, которые образовывали круг избранников; все остальные были «существователи», и к ним он относился с традиционным романтическим презрением поэта к черни. Еще в Нежине был записан «Ганц Кюхельгартен». Герой этой поэмы — почти автопортрет.

Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков,
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

Своему другу Г. И. Высоцкому Гоголь пишет (1827 г.): «Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия, высокое назначение человека…И между этими существователями я должен пресмыкаться!»

Конечно, противоставление героя толпе — романтический шаблон, но доля реальности есть и здесь. Жители Нежина, действительно, были «мертвыми душами», и живой, восторженный юноша, действительно, страдал от их «земности». Дыша поэтическим воздухом двадцатых годов, с их культом героя — поэта, вождя, пророка, с их индивидуализмом и гражданственностью, Гоголь с детских лет стал мечтать о подвиге, о миссии, о службе людям.

В основе этих мечтаний — страстная жажда самоутверждения. Страх смерти принимает форму страха перед погребением заживо, перед «мертвой» жизнью на «черной квартире неизвестности в мире».

«Как тяжко быть *зарыту* вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие *мертвое*»

(Высоцкому, 1827 г.).

«Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом: быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно»

(П. П. Косяровскому, 1827 г.).

Вера в свое великое призвание, в свою свыше предназначенную миссию возникает у Гоголя под влиянием романтической поэтики, но вовсе этим влиянием не исчерпывается. С лицейской скамьи он был вдохновляем таинственной уверенностью в своем «служении». В чем будет заключаться это служение, представлялось ему очень смутно. В письме к дяде П. П. Косяровскому (1827 г.) он пишет, что решил быть судьей, т. к. видит, что «здесь работы будет более всего, что здесь только он будет истинно полезен человечеству». А через год тому же П. П. Косяровскому сообщает: «Весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху ни духу несколько лет». Данилевский, близкий товарищ Гоголя, вспоминает, что тот одно время собирался в Америку. Однако во втором письме к дяде о юстиции уже не упоминается. Гоголь едет в Петербург, совершенно не представляя себе, чем он будет зарабатывать себе на жизнь. Он уверен, что «хлеб у него будет всегда», и не может не похвастаться перед дядей: «Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла: хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфреской живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства». Гоголь в лицее немного рисовал, но, конечно, ни поваром, ни портным никогда не был. Здесь мы сталкиваемся с очень важной особенностью гоголевской психики: отсутствием чувства реальности, неспособностью отличать правду от вымысла и наклонностью к преувеличению. Строй души его — напряженный, патетический; с ранних лет уже наблюдается та двусмысленность чувств, та *недостоверность* и темная сложность душевных движений, которые создадут впоследствии загадочный облик автора «Мертвых душ».

Гоголь важно объявляет дяде: «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественными». А в действительности в лицее читался элементарный курс законоведения, которым Гоголь не интересовался.

Но как ни осторожно должны мы относиться к утверждениям Гоголя, его исконная, несокрушимая вера в свое призвание несомненна. До отъезда в Петербург она еще беспредметна, слепа, иррациональна. Поприще будущего служения простирается от кабинета министра юстиции до кухни повара. Но Гоголь верит в себя; эта вера больше, чем романтическое честолюбие и мечтательный идеализм юности; она по природе своей мистична. Стоя на пороге новой жизни, представляя себе «веселую комнатку, окнами на Неву», нежинский лицеист пишет матери слова, звучащие громче и торжественнее всего им доселе

писанного: «Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу отечества, для счастия граждан, для блага жизни себе подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания… Через год вступлю я в службу государственную».

4
Петербург (1829–1836)

В 1829 году двадцатилетний Гоголь попадает в Петербург. Столица встречает его неприветливо. Он поселяется на четвертом этаже большого мрачного дома. Петербург «показался ему вовсе не таким, как он думал». Дороговизна жизни приводит его в уныние; он живет «как в пустыне». По приезде не сразу пишет матери и объясняет свое молчание тем, что «на него напала хандра или другое подобное» и что он «уже около недели сидит поджавши руки и ничего не делая». Неудачи с поисками службы заставляют Гоголя вспомнить о поэме «Ганц Кюхельгартен», написанной еще в 1827 году в Нежине. Он издает ее на последние деньги под псевдонимом Алова. После жестокой расправы «Московского телеграфа» и «Северной пчелы» Гоголь «бросился с своим верным слугой Якимом по книжным лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер в гостинице и сжег все до единого» (Н. Кулиш. Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856 г.).

И тут первой мыслью оскорбленного автора было: бежать. Воспользовавшись деньгами, присланными матерью для уплаты процентов в опекунский совет, Гоголь садится на корабль и уезжает в Любек. В связи с этой авантюрой мы располагаем двумя психологическими документами исключительного значения: письмами Гоголя к матери от 22 мая и 24 июля 1829 года.

Ему нужно было получить согласие матери на путешествие и убедить ее в разумности своего странного поступка.

Письмо от 22 мая, писанное еще до катастрофы с «Ганцом Кюхельгартеном», подготовляет почву. Гоголь говорит, что ему представляется случай поехать за границу.

> «Но вообразите мое несчастие: нужно же этому случиться! Великодушный друг мой, доставлявший мне все это, скоропостижно умер…Я имел одно существо, к которому истинно привязался было навсегда, и Небу угодно было лишить меня его».

Биографам Гоголя нетрудно было выяснить, что история с «великодушным другом» была выдумана. Через два месяца выдумка разрастается: фабула о несчастной дружбе превращается в повесть о несчастной любви.

> «Я видел ее…нет, не назову ее…она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение — некстати для нее…Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти…Адская тоска, с возможными муками, кипела в душе моей…Нет, это не любовь была…Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви…Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь».

В действительности никакой любви не было. Перед нами — упражнение в романтическом лирическом стиле, напоминающее статью «Женщина», написанную Гоголем два года позднее.

В этих письмах к матери слепая вера Гоголя в себя впервые прозревает: из смутного мистического ощущения она становится осознанным религиозным чувством. Душевному движению найдена мотивация: Гоголя ведет Божественный промысл; Бог внушает ему страсти, диктует решения, наказывает за непослушание. В письмах 1829 года писатель говорит уже тем торжественным и мистическим тоном, который так поразил современников в 1847 году, когда вышли «Выбранные места из переписки с друзьями».

> «Бог указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности…и я осмелился откинуть Божественные промыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими».

Здесь — возникновение веры Гоголя в особое, преимущественное попечение о нем Промысла Божия.

Но почему же все-таки ему нужно уехать в чужие края? Бедная Марья Ивановна, читая, что Бог наказывает ее сына за то, что он против своей воли и воли Провидения отправился в Петербург и решился служить там «в угодность ей больше», должна была прийти в смятение; едва ли оно уменьшилось, когда она прочла, что цель заграничного путешествия ее сына «воспитывать страсти в тишине» и одновременно «в шуме вечного труда». Чувствуется, что Гоголь писал это письмо в нервической спешке и в увлечении страсти. Через несколько лет он всю эту сложную систему мотивации забывает, и в «Авторской исповеди» объясняет юношескую авантюру совершенно по-другому.

> «Не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому *непонятному*. Проект и

> цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорее чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».

Оглядываясь через восемнадцать лет на свое прошлое, Гоголь допускает анахронизм: он представляет поездку в Любек в свете своего мировоззрения сороковых годов. Мотив аскетического подвига (чтобы полюбить родину, нужно покинуть ее) — происхождения более позднего. В двадцатых годах Гоголь мечтал о культивировании страстей, а не об аскезе.

* * *

Приехав в Любек, он как будто отрезвляется: с удивлением видит себя в чужом городе, среди чужих людей, языка которых не понимает. И впервые задумывается над самим собой, над загадкой собственной натуры.

«Часто я думаю о себе, — пишет он матери из Любека, — зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем Он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?»

После запутанной и сбивчивой риторики — вдруг точная и ясная самохарактеристика.

В конце сентября беглец возвращается в Петербург, поступает на службу в Департамент уделов, знакомится с литераторами и сотрудничает в журналах. В 1831 году выходят «Вечера на хуторе близ Диканьки» и приносят ему славу.

В конце 44 года в письме к А. О. Смирновой Гоголь просит не выводить никаких заключений о нем самом на основании его юношеских сочинений. Писанные «во время глупой молодости», они говорят о «писателе еще не утвердившемся ни в чем твердом». И дальше следует примечательная оговорка: «В них, точно, есть кое-где *хвостики душевного состояния* моего тогдашнего, но без моего собственного признания их никто и не заметит и не увидит».

Этими словами определяется наше отношение к произведениям Гоголя тридцатых годов; мы попытаемся заметить эти «хвостики душевного состояния».

* * *

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь следует двум разнородным традициям, стараясь связать их единством стиля. Первая традиция — немецкая романтическая демонология: ведьмы, черти, заклинания, колдовство, с которыми Гоголь был знаком по повестям Тика и Гофмана; вторая — украинская народная сказка с ее исконным дуализмом, борьбой Бога и дьявола. Повести можно расположить по степеням нарастающей мрачности. В «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте» — чертовщина уморительная и «домашняя»: обе повести являются своего рода демонологическими анекдотами. В «Майской ночи» и «Ночи перед Рождеством» — борьба добра со злом уже труднее: нужна святая панночка, чтобы победить страшную ведьму, нужен благочестивый кузнец-иконописец, чтобы одолеть черта. И, наконец, в «Вечере накануне Ивана Купала» и в «Страшной мести» смех совсем замолкает. Забавное уступает место ужасному. Независимо от народной традиции автор создает чудовищные и зловещие образы Басаврюка и колдуна, отца Катерины.

Описание мертвецов, выходящих лунною ночью из могил на берегу Днепра, рассказ о схватке колдуна с всадником, сцена вызова души Катерины — самые сильные страницы в «Вечерах». Это первые звуки не заученной, а своей художественной речи. Именно здесь, в страшном и мрачном, следует искать «хвостики душевного состояния» автора. Вспомним его признание в «Авторской исповеди»: «На меня находили припадки тоски мне самому необъяснимой…Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать». Но смешное постепенно переставало быть смешным, а мрачность его «меланхолического от природы характера» упивалась изображением зла и смерти.

Вас. Гиппиус (*Гоголь*. 1924 г.), анализируя композицию «Вечеров», приходит к заключению, что шесть из них варьируют одну тему. «Это, — пишет он, — вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним». На исходе этой борьбы автор смотрит с безнадежностью: в «Вечере накануне Ивана Купала» побеждает Басаврюк; в «Страшной мести» все, прикоснувшиеся к злой силе, осуждены на гибель (Данило, Катерина, ее маленький сын). Единственное убежище — церковь и монастырь, но и они нередко бессильны. Автор сознательно отступает от народной сказки с ее наивной верой в конечное торжество добра.

* * *

Читатели «Вечеров», очарованные юмором и веселостью Рудого Панька, не обратили внимания на лежавшую в основе повестей мрачную демонологию. «Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего…этой веселости, простодушной и вместе лукавой», — писал Пушкин. Все смеялись, начиная с наборщиков, которые, завидя автора «Вечеров», «давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке» (письмо Гоголя к Пушкину, 1831 г.).

Гоголь единодушно был признан замечательным юмористом. Ему дорого пришлось расплачиваться за эту быструю славу. Читатели любят простые и ясные ярлыки: звание юмориста осталось приклеенным к писателю на всю жизнь. И этим отчасти объясняется провал его «Переписки с друзьями» и вообще неудача его «душевного дела». Когда Гоголь перестал смешить и заговорил о Боге, никто не поверил, что комический писатель может быть учителем.

Успех окрыляет Гоголя; вера в Промысел крепнет в нем; в письмах слышатся нотки самоуверенности и хвастливости, напоминающие манеру Ивана Александровича Хлестакова. Несколько примеров:

> «В письме вашем, между прочим, беспокоитесь, что квартира моя на пятом этаже. Это здесь не значит ничего, и верьте, во мне не производит ни малейшей усталости. Сам Государь занимает комнаты не ниже моих…»
>
> *(матери, 1830 г.).*
>
> «…Мне любо, когда не я ищу, но моего ищут знакомства»
>
> *(матери, 1831 г.).*
>
> «…Прошу вас принять эту небольшую книжку («Вечера»). Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни…»
>
> *(матери, 1831 г.).*
>
> «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе… Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин

и я».

* * *

Тридцать второй год — счастливый в жизни Гоголя: он выпускает вторую часть «Вечеров», начинает работать над комедией «Владимир 3-й степени»; летом, проездом в Васильевку, останавливается в Москве и знакомится с Погодиным, С. Т. Аксаковым и актером Щепкиным.

Осенью, полный надежд и замыслов, возвращается в Петербург и хочет приняться за работу, но вдруг на него находит странное бездействие, апатия, «растерянность мыслей». Сначала он относится к этому шутливо. «Я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор» (Погодину, февраль 1833 г.). В письме к матери он объясняет свое состояние тем, что «из дому вывез с собою лень» (8 февраля 1833 г.); та же мотивация повторяется в письме к Данилевскому (8 февраля 1833 г.), но здесь в его словах уже начинает звучать тревога: «Я вывез из дому всю роскошь лени и ничего решительно не делаю. Ум в *странном* бездействии: мысли так растерянны, что никак не могут собраться в одно целое».

Месяц проходит за месяцем, а душевное состояние Гоголя становится все мучительнее. Он переходит от одного проекта к другому, судорожно хватается за самые разнообразные начинания; задумывает многотомную всеобщую историю, грандиозную всеобщую географию («Земля и люди»), собирается писать полную историю Украины. Все эти работы дальше планов не идут; не лучше обстоит дело и с художественным творчеством. Начатая повесть «Страшная рука» остается неоконченной. Работа над «Владимиром 3-й степени» вскоре прерывается. В июле в письме к Максимовичу Гоголь горестно признается: «Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя. *Вот скоро будет год, как я ни строчки*».

Н. Кулиш в своих «Записках о жизни Н. В. Гоголя» пишет: «В промежуток между июлем и ноябрем с Гоголем случилось нечто необыкновенное». И делает догадки: может быть, это были неприятности по службе или «по предмету его литературных занятий», но вернее всего то была «забота юности — любовь». Биограф основывает свое предположение на словах Гоголя в его письме к Погодину (28 сентября):

«Какой ужасный для меня этот 1833 г.! Боже, сколько кризисов! Настанет ли для меня благодатная реставрация?

Сколько я начинал, *сколько пережег, сколько бросил*!

Понимаешь ли ты ужасное чувство быть недовольну самим собой? О, не знай его*!*..Человек, в котором вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость…Он ужасно издевается над собственным бессилием». Свидетельство совершенно ясное. Как из этих слов Кулиш мог вычитать, что у Гоголя были неприятности по службе или несчастная любовь? Ведь он определенно говорит, что переживал *кризис творчества*, что мучился неудовлетворенностью своими писаниями. В ноябре того же года он почти в тех же выражениях пишет о «переворотах» Максимовичу: «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, *сколько я пережег, сколько перестрадал*». Как характерно это сопоставление: «пережег — перестрадал».

Наконец, еще одно свидетельство, устраняющее последние сомнения: 11 марта 1833 года Плетнев писал Жуковскому:

> «У Пушкина ничего нового нет, у Гоголя тоже. Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому *с досады* ничего не написал».

Сопоставим: у Гоголя — «человек…весь превращается в злость», у Плетнева — «с досады». Речь идет о том же душевном состоянии; только у Гоголя, как всегда, все передано в преувеличенной, патетической форме: каждая фраза с восклицательным знаком. Этот гиперболизм ввел в заблуждение доверчивого Кулиша, и он решил, что с Гоголем случилось «нечто необыкновенное».

А в действительности писатель переживал затишье перед новым, поразительным расцветом творчества 34–36 годов; кризис происходил не от скудости, а от изобилия; это было мгновение неподвижности, которое предшествует прыжку. Замыслы Гоголя были столь разнообразны и грандиозны, что парализовали друг друга. Он не мог приступить к работе над историей, так как планы его неудержимо росли: сначала предполагалось написать историю Украины, потом — малороссийскую и всемирную, потом историю средних веков, томов из восьми-девяти. Одни наброски сжигались и лихорадочно составлялись другие. Работа над комедией была не менее мучительной, так как «перо толкалось о такие места, которые цензура ни за что не пропустит». И Гоголь заключает: «Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю — передо мною движется сцена…» (Погодину, 20 февраля 1833 г.). Вот причина «ад-чувства», злости, недовольства собой и видимого бесплодия. Кризис 33 года был кризисом

стремительного роста писателя, необъятного расширения его задач, возмужания его таланта.

* * *

Период «неподвижности» приходит к концу, и Гоголь пророчески чует начало новой жизни; в торжественно-лирических словах приветствует он возвращение своего Гения.

> «Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами?..Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений*!*..О, не разлучайся со мной! Я совершу…Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны…Над ними будет веять недоступное земле Божество! Я совершу*!*..О, поцелуй и благослови меня».

Ночь накануне нового 1834 года, когда была написана эта патетическая молитва, — зенит гоголевского творчества. Все в нем достигло полноты и напряжения. За следующие два года (1834–1835) писатель создает или задумывает все, что ему дано было создать; впоследствии он только осуществляет более ранние замыслы, переделывает и обрабатывает прежде написанные произведения. В 1834 году сочинены «Миргород» и «Арабески»; в 1835 — «Женихи» и «Нос», начаты «Мертвые души» и «Ревизор».

Гоголь полон надежд; вдохновение не иссякает. «Я восхищаюсь заранее, — пишет он Пушкину (1833 г.), — когда воображу, как закипят труды мои в Киеве!»

«Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных, свежих!» — сообщает он Погодину (1834).

Как плодотворно было вдохновение Гоголя в этот период, выясняется из сопоставления двух дат: 7 октября Гоголь просит Пушкина дать ему сюжет для комедии, а 6 декабря он сообщает Погодину, что комедия уже готова: «Ревизор» был написан меньше чем в два месяца!

В конце 35 года Гоголь освобождается от занятий историей, которые становились для него все более тягостными. После неудачного опыта преподавания истории в Петербургском университете он выходит в отставку и с этих пор безраздельно посвящает себя литературе.

* * *

Обратимся к произведениям 34–35 годов. Какое

свидетельство дадут они об авторе? Объединено ли чем-нибудь их пестрое разнообразие? Разбирая «Вечера на хуторе», мы указывали, что главной темой их было вторжение демонических сил в жизнь человека. В основе повестей, помещенных в «Миргороде» и «Арабесках», ощущение безнадежности и обреченности расширяется и углубляется. Гоголь по-прежнему видит мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следит за борьбой человека с дьяволом. За исключением «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» все повести кончаются гибелью героев: умирают Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в «Старосветских помещиках», гибнет Тарас с двумя своими сыновьями в «Тарасе Бульбе», сходит с ума и умирает художник Чертков в «Портрете», сходит с ума и перерезывает себе горло художник Пискарев в «Невском проспекте», сходит с ума чиновник Поприщин в «Записках сумасшедшего».

Из страшного мира, в котором властвует зло и царит смерть, уйти некуда. Даже если удалиться от суеты жизни и тревоги страстей и похоронить себя заживо в каком-нибудь медвежьем углу, в полной тишине и уединении, и тут «злой дух» настигнет и одним своим дыханием разрушит хрупкий игрушечный рай. В начале «Старосветских помещиков», изображая «сферу этой необыкновенно уединенной жизни», Гоголь пишет: «Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения *злого духа*, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».

Но как непрочны частоколы и плетни, ограждающие идиллический, любовный мирок старичков! Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна живут в невинности и блаженстве. И вот «злой дух» проникает в их рай под видом тощей, одичавшей кошки — входит смерть и страдание. Для изображения темных сил Гоголь не нуждается больше в масках украинского вертепа; но куда страшнее мяуканье серенькой кошечки, предвещающей смерть, чем приплясыванье черта, у которого «мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком» («Ночь перед Рождеством»). Даже нагромождение страхов и ужасов «Страшной мести» не так потрясает воображение, как таинственный зов среди ясного и солнечного дня, от которого умирает Афанасий Иванович.

В четырех повестях: «Вий», «Тарас Бульба», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» — Гоголь с различных сторон подходит к проблеме зла в любви и в красоте. Он остро ощущает трагизм любви и двусмысленность красоты в нашем

мире и задолго до Достоевского знает о существовании двух идеалов — идеала Мадонны и идеала Содомского. Каким путем пришел Гоголь к этому сжигающему душу прозрению? Нам известно только, что это событие случилось между 1831 и 1834 гг. Что-то произошло с душой Гоголя; во всяком случае, пережитый им страшный опыт мало имел общего с той «заботой юности — любовью», которую придумал Кулиш.

В 1831 году Гоголь еще по сю сторону роковой черты; он — романтик-идеалист, воспевающий божественную основу любви и облагораживающее влияние красоты.

В статье «Женщина» он пишет: «Мы зреем и совершенствуемся: но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину?» и дальше: «Что такое любовь? — Отчизна души…Когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного Бога…тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь».

Так восторженно и добросовестно пересказывает Гоголь романтическую философию любви.

А через год в письме к Данилевскому Гоголь делает важное признание: до сих пор любви он не знал; два раза он был готов полюбить, но оба раза удержал себя силой воли. Почему? Вот его слова: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей (Данилевский писал ему о своей влюбленности), хотя самому, благодаря судьбе, *не удалось испытать*. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение».

До самой смерти Гоголь не знал любви, этого, по его словам, «первого блага в свете». Это — факт громадной важности, объясняющий многие особенности характера и творчества писателя. Но безвкусны и произвольны домыслы некоторых исследователей о сексуальной жизни Гоголя. Догадываться о том, каким пороком страдал писатель, применять к нему метод Фрейда — занятие бесполезное. Достаточно показать, что мысли Гоголя о демонической природе красоты и гибельности любви основаны на его личном психологическом опыте: он испытывал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную разрушительную силу над своей душой; натура его была так чувственна, что «это пламя превратило бы его в прах в одно мгновение».

В этом пункте мы можем проследить самый механизм превращения личного и очень интимного переживания в художественные образы: Гоголь только *боялся* сгореть в пламени страстей, а псарь Микита в «Вие» сгорает действительно. Влюбившись в ведьму-панночку, он позволяет ей положить на

него свою ножку. «Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю». И кончилось это так: «Когда раз пришли на конюшню, то вместо него лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем, *сгорел сам собою*».

Едва ли в письме к Данилевскому Гоголь понимал свои слова буквально: «превратиться в прах» — было для него метафорой гибели; в повести метафора обрастает плотью и делается реальным пожаром: «сгорел сам собою».

Эпизод с псарем Микитой параллелен главному рассказу о философе Хоме Бруте. На нем тоже ездит верхом панночка, и это тоже влечет за собой его гибель. Чувственные ощущения Хомы, несомненно, отражают в какой-то степени любовное «пламя» автора. «Вий» — самое эротическое из всех произведений Гоголя. И псарь Микита, и Хома околдованы «чарой», они горят темным, гибельным огнем сладострастия. То, что они испытывают, не любовь, а дьявольское наваждение похоти. Хома не только не любит панночки — он ненавидит и боится ее. Чувства, описанные в этой повести, роковые, бесчеловечные, стихийные. Они слепы, как сам «Вий»; у них, как и у него, лица железные. Понятен ужас Гоголя перед этим адским пламенем, оправдан его аскетизм.

Хома Брут скачет с панночкой на спине. «Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу». «Но там что? ветер или музыка? звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелию…Он чувствовал *бесовски-сладкое* чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то *томительно-страшное наслаждение*».

Такими магическими словами описана дьявольская подмена любви вожделением. Не менее замечательно описание «страшной» красоты:

> «Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте…Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то *страшно* пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню похоронную»
>
> *(первая ночь в церкви).*

«В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким *паническим ужасом*, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо…»

(вторая ночь в церкви).

В этих словах загадка красоты показана с такой остротой, что и Достоевский не сможет ничего к ней прибавить. Красота страшна, *потому что* жива, *потому что* дана в своем предельном совершенстве.

В «Вие» Гоголь только ставит вопросы, но не пытается на них ответить; в плане романтического «страшного романа», в каком эта повесть написана, настоящего ответа и быть не может; а формальный ответ: красота панночки страшна, потому что покойница-ведьма, конечно, ничего не объясняет.

Следующий шаг — окончательный разрыв с народной фантастикой и перенесение проблемы в плоскость современной, вполне реальной действительности. Демонические силы развоплощаются; рога, копыта и мордочки с пятачком исчезают. Мы в мире взрослых и образованных людей, которые в черта не верят. Отныне Гоголь будет изображать не веселую суматоху, поднимаемую «бесовским пламенем», а невидимые глазом «порождения злого духа, возмущающие мир». В «Вие» Хома Брут гибнет не столько от чар красоты, сколько от мести ведьмы; в «Невском проспекте» в жизнь художника Пискарева злые духи не вмешиваются непосредственно: он гибнет от силы женской красоты, от *естественно присущего ей демонизма*.

Художник Пискарев, романтик-идеалист и девственный мечтатель, принимает женщину с Невского проспекта за «святыню» и «божество». Для его эстетического сознания красота есть высшая ценность, абсолют; она — откровение Бога на земле; поклонение красоте, любовь к прекрасной женщине равно религиозному служению. И вот Пискареву раскрывается иная правда: в этом мире «божественные черты» могут принадлежать развратнице, ведущей «низкую и презренную жизнь».

«Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление…Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга…Она бы составила божество в многолюдном зале…Но увы! она была *какою-то ужасной волею адского духа*, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту

страшную пучину».

В нашей «ужасной жизни» сама красота, эта небесная гостья, находится во власти злых сил; обреченная на гибель, она губит всех, кто к ней приближается; на такую действительность Пискарев не согласился: сначала он пытался уйти от нее в сны, потом в видения, порожденные опиумом; но бегство не спасло его. «Приемы опиума еще более раскалили его мысли и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он». Кончилось тем, что Пискарев был однажды найден с перерезанным горлом.

В чем тайна красоты? — спрашивал Гоголь в «Вие». И в «Невском проспекте» он отвечает: красота — божественного происхождения; но в нашей «ужасной жизни» она извращена «адским духом». Принять такую жизнь нельзя. Если нужно выбирать между «мечтою» и «существенностью», то художник выберет мечту. И Гоголь приходит к полному *эстетическому идеализму*: «Лучше бы ты (красавица) вовсе не существовала! *не жила в мире*, а была создание вдохновенного художника». Злая красота нашего мира губит, возбуждая в сердцах людей «ужасную, разрушительную» силу — любовь.

Вариации этой темы даны в «Тарасе Бульбе» и в «Записках сумасшедшего». Для Андрия зов красоты сильнее чести, веры, родины. От одного ее дыхания рушатся все нравственные устои; красота по самой своей природе аморальна. Для бедного Поприщина любовь к директорской дочке — причина сумасшествия. «Женщина влюблена в черта. И она выйдет за него, выйдет», — мелькает в его потухающем сознании. Наконец, в «Портрете» (редакции 35 года) Гоголь подводит итоги творчеству первого периода: впервые, он старается осознать и мотивировать свою мистическую интуицию. До сих пор он только мучительно «чувствовал» зло; теперь он пытается построить религиозное мировоззрение. Оно — эсхатологично. Мир во зле, потому что наступают последние времена, срок рождения антихриста; верные Христу потерпят великие муки. Антихрист и теперь уже рождается частично: он воплощается в людях, овладевая их душами. Психика человека — единственный путь проникновения в мир злого начала. Художник, ставший орудием антихриста и замоливший свой грех в суровом монашеском подвиге, говорит сыну: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже *в самое вдохновение художника*. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный

дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений».

В этих словах поставлена проблема искусства. Если так могущественно зло и если в мире оно проникает в святые помышления и даже в вдохновение, то как тяжка и страшна ответственность художника, гений которого может, незаметно для него самого, стать орудием антихриста! И кто определит грань между добром и злом в искусстве? По каким достоверным признакам художник может заключить, что его вдохновение чисто и что он не впал в прелесть?

Страшные сомнения, предвещающие трагическую судьбу самого Гоголя…Наступит день, когда и автор «Мертвых душ» поверит в свою одержимость и «в строгом посте и молитве, с высоким религиозным смирением» будет замаливать свои грехи.

Но в 35 году Гоголь еще далек от этого сознания. Загадка искусства решается им в том же плане эстетического идеализма, в каком он решал в «Невском проспекте» загадку красоты. Мировоззрение его резко дуалистично; существуют две действительности: одна — действительность искусства, мечты, идеала, воображения; другая — «ужасная действительность» («Портрет») или «ужасная жизнь» («Невский проспект»), царство Князя мира сего. Искусство должно изображать только первую действительность (вымышленную) и не заглядывать в другую (настоящую). Приведем полностью это замечательное место: «Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание искусства и через которую шагнув он уже похищает не создаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал? Отчего же этот переход за черту, положенную границею для воображения, так ужасен? Или за воображением, за порывом следует, наконец, действительность — та *ужасная действительность*, на которую соскакивает воображение с своей оси каким-то посторонним толчком, — ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть *прекрасного человека*, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность и видит *отвратительного человека*».

Гоголь-человек аскетически отвергает злой мир, ужасается и содрогается перед «отвратительным человеком»; Гоголь-писатель отрицает всякий реализм в искусстве и советует художнику под страхом гибели своей души не покидать заоблачных пространств поэтического вымысла. И это говорит автор «Старосветских помещиков» и «Шпоньки», основатель натуральной школы в нашей литературе! В сознании писателя уже начался разлад мечты и действительности. Но Гоголь еще не догадывается, что

именно ему суждено изображать «отвратительного человека».

* * *

Тридцать шестой год Гоголь называет «великим переломом, великой эпохой моей жизни». Восстановить картину этого перелома — задача нелегкая, так сложен и запутан этот период жизни писателя. О «переломе» есть у нас два свидетельства 1847 года: «Авторская исповедь» и письмо к Жуковскому.

Выясним прежде всего степень их достоверности.

В «Авторской исповеди» Гоголь схематически делит свою жизнь на две половины: первая — веселая молодость, когда «умному человеку приходят в голову глупости»; в эти годы он «сочинял, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза»; вторая половина — зрелость; в нее Гоголь вступил с помощью Пушкина. «Может быть, — продолжает автор, — с летами и с потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно». Он похвалил способность Гоголя «угадывать человека» и посоветовал ему «приняться за большое сочинение». При этом он дал ему сюжет «Мертвых душ» и мысль «Ревизора». Гоголь «задумался серьезно» и решил, что нужно смеяться не даром, а над тем, что «действительно достойно осмеянья всеобщего». В «Ревизоре» он придумал «собрать в одну кучу все дурное в России, какое тогда знал…и за одним разом посмеяться над всем». Так описывается перелом в «Авторской исповеди». То же событие в письме Жуковскому (декабрь 1847 г.) излагается иначе. Перелом наступил тогда, когда Гоголь с изумлением заметил, что на него «обижаются и даже сердятся целиком сословия и классы общества». Он задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». «Я решился, — продолжает он, — собрать все дурное, какое только знал, и за одним разом над ним посмеяться — вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество»…Итак: в «Авторской исповеди» Гоголь утверждает, что он обязан Пушкину 1) сюжетами двух главных своих произведений «Ревизора» и «Мертвых душ», 2) изменением направления всего своего творчества (из праздного зубоскальства оно становится служением человечеству) и 3) самым фактом своего писательства (без Пушкина «оно может быть исчезнуло бы»).

А в письме к Жуковскому, изображая тот же перелом и

переписывая дословно целые фразы из «Исповеди», *Гоголь о Пушкине не упоминает вовсе*. Там он, казалось, был обязан ему всем, здесь — ничем.

Как объяснить это сознательное и намеренное умолчание? Вот что мы читаем в примечании к «Авторской исповеди» редактора сочинений Гоголя В. В. Каллаша: «Вызвана неудачей «Выбранных мест». Начата в мае 1847 г. Должна была войти во второе издание «Выбранных мест» вместо «Завещания», вместе с письмом В. А. Жуковскому: «Искусство есть примиренье с жизнью».

Исправим ошибку В. В. Каллаша. «Исповедь» и письмо не могли войти во второе издание «Выбранных мест» *вместе*, так как они друг друга исключают. Впрочем, в приписке к письму к Жуковскому Гоголь говорит ясно: «Если письмо это найдешь не без достоинств, то прибереги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» поставить впереди книги на место «Завещания». Об «Исповеди» здесь не упоминается.

Мы полагаем, что «Авторская исповедь» и письмо суть *два варианта* апологии писателя. Потрясенный враждебным приемом, встреченным «Перепиской», Гоголь наспех пишет самооправдание и тут же придумывает довольно неточную и произвольную схему своего писательского пути (в мае 1847 г.). 29 декабря того же года, перед самым отъездом в Святую Землю, он набрасывает другой вариант в письме к Жуковскому. Почему ему показалось необходимым умолчать о роли Пушкина в истории своего творчества? Поразмыслив на досуге над «Авторской исповедью», Гоголь остался ею неудовлетворенным и решил не печатать: он выставлял себя в этом сочинении в неблагоприятном свете. Выходило, что в течение первого периода своей литературной деятельности он был легкомысленным балагуром, писавшим «глупости»; что, не будь Пушкина, он бы так не догадался о своем великом призвании и даже перестал бы писать. А следовательно, писательский путь его не органичен, не начертан свыше, а вполне случаен. Отправляясь к гробу Господню просить благословения на великий труд, возложенный на него Богом, Гоголь должен был пожертвовать своей зависимостью от Пушкина.

Так возник вариант письма к Жуковскому; его недостоверность очевидна: до постановки «Ревизора» даже подозрительный Гоголь не мог предполагать, что на его сочинения «сердятся целые классы».

Остается вариант «Исповеди»; достоверность ее тоже очень относительна. В этом апологетическом произведении события тридцатых годов подогнаны — иногда насильственно — под идейную схему сороковых годов.

Поэтому оставим «Исповедь» и попытаемся восстановить историю перелома 36 года на основании источников того же времени. В течение 35 года Гоголь постепенно охладевает к занятиям историей. Многотомные исторические исследования не двигаются с места; в Университете он вяло дотягивает свой курс перед опустевшей аудиторией. В конце года увольняется в отставку и примиряется с мыслью, что историческое поприще — не его призвание.

«Я расплевался с Университетом, — пишет он Погодину в декабре 35 года, — и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я *не за свое дело взялся* — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души».

Самолюбивому Гоголю трудно было сознаться в «бесславии»: с лицейской скамьи он мечтал о службе на благо родины и человечества и университетская кафедра представлялась ему именно таким местом общественного служения. И вот после неуспеха на научном и академическом поприще он осознает свою *миссию комического писателя*. К театру его влекло с детских лет. По словам С. Т. Аксакова («История моего знакомства с Гоголем»), уже в 1832 году «русская комедия его сильно занимала». В критический 1833 год Гоголь работал над комедией «Владимир 3-й степени». Ко времени ухода из Университета у него были уже готовы «Женитьба» и «Ревизор». Обе они были написаны до перелома и задуманы как смешные фарсы. Прося у Пушкина сюжет для комедии, Гоголь писал (7 октября 1835 г.): «Сделайте милость, дайте сюжет: духом будет комедия из пяти актов и, клянусь, — куда смешнее черта». И вот, «бесславно» сойдя с университетской кафедры, Гоголь решает ставить «Ревизора». В связи с этой постановкой он пишет в 1836 году две статьи: «Петербургская сцена в 1835/36 г.» и «Петербургские записки 1836 года», в которых доказывается, что театр есть тоже *кафедра*. «Театр это такая кафедра, — читаем мы в «Петербургских записках», — с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок…»

Таким образом, психологическая связь между концом профессорской деятельности Гоголя и началом театральной вполне бесспорна.

Наконец, разрешается и последнее сомнение: Гоголь с лицейской скамьи не представлял себе своего служения человечеству иначе как в виде государственной службы.

Должность адъюнкта отвечала этому требованию. А театр? Можно ли дело комического писателя считать тоже государственной службой? В статье «Петербургская сцена в 1835/36 г.» Гоголь отвечает утвердительно:

> «Благосклонно склонится око Монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием Добра, предпримет уличить низкий порок…и этим подаст помощь и крылья Его правдивому закону».

Итак, комический писатель — сотрудник Государя.

Картина, восстановленная нами с помощью материалов тридцатых годов, очень отличается от версии «Исповеди». Возникает вопрос: какую же роль играл Пушкин в истории творчества Гоголя? Что он дал ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» — подтверждается рядом свидетельств. Но малоправдоподобно, чтобы автор «Поэта и черни» внушил Гоголю моральное направление творчества, и совсем невероятно, что без вмешательства Пушкина Гоголь бросил бы писать. К самому факту близкой дружбы Гоголя с Пушкиным последние биографы его (В. Каллаш, Б. Лукьяновский, А. Долинин и В. Гиппиус) относятся недоверчиво. Связь между двумя писателями, по-видимому, была самая внешняя: за шесть лет знакомства Пушкин написал Гоголю три незначительных записки; после лета в Царском, когда, по словам Гоголя, он «почти каждый вечер» проводил с Пушкиным, Гоголь путает имя жены поэта (в письме к Пушкину он называет Наталью Николаевну Надеждой Николаевной); перед отъездом Гоголя за границу у него, по-видимому, вышла размолвка с Пушкиным, и он уехал, даже не попрощавшись с ним[1].

* * *

19 апреля 1836 года «Ревизор» был представлен на петербургской сцене. Анненков в «Воспоминаниях» рассказывает, что после первого акта было «недоумение», которое возрастало с каждым актом; в некоторых местах раздавался общий смех; в четвертом акте было «напряженное внимание», в пятом — «всеобщее негодование».

«По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа.

Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами «полюбуйтесь на сынка». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь

на него, проговорил задумчиво: «Господи Боже! Ну если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все».

Этот мотив: «все, все» — повторяется и в переписке Гоголя 36 года.

«Все против меня, — пишет он Щепкину. — Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а*целые сословия*».

«Пророку нет славы в отчизне (письмо к Погодину от 10 мая). Что против меня уже решительно восстали теперь *все сословия*, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников».

«Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины (письмо к Погодину от 15 мая). Сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в переводе опозорить *все сословия*».

Гоголь переживает прием, оказанный его пьесе, как восстание против него всех сословий, как возмущение всей России: для него постановка «Ревизора» — крушение всех надежд, почти личная катастрофа.

Что же было в действительности? На первом представлении было и недоумение, и даже негодование, но одновременно вызовы автора, «напряженное внимание», шумные обсуждения.

> «Пьеса имела успех колоссальный»
>
> *(Панаев. Литературные воспоминания).*
>
> «На сцене комедия имела огромный успех»
>
> *(С. Т. Аксаков).*
>
> «Ревизор» имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора…ни в чем не было недостатка»
>
> *(Кн. П. А. Вяземский).*

Но Гоголь ничего не видит и не слышит: он потрясен «восстанием против него России» и спешит бежать за границу. Разбитый душой и телом, уезжает в чужие края «разгулять свою тоску». Отношение автора к буре, поднятой «Ревизором», может показаться непонятным. Чем вызвано его страшное душевное потрясение? Все обычно приводимые причины недостаточны;

правда, Гоголь был мнителен и критику на «Ревизора» мог воспринять как бунт всех сословий; правда, он был оскорблен в своей бескорыстной любви к соотечественникам, на которую они ответили такой неблагодарностью, и все же «душевного потрясения» этими причинами нельзя объяснить.

Но припомним, что Гоголь был идеалистом, разделявшим взгляды Шиллера на преображающую мир силу искусства. Подобно Новалису и Шлегелю, он верил в то, что искусство может творить чудеса (магический идеализм).

Нельзя ли предположить, что Гоголь рассчитывал, может быть полусознательно, что «Ревизор» произведет какое-то *немедленное и решительное действие*? Россия увидит в зеркале комедии свои грехи и вся, как один человек, рухнет на колени, зальется покаянными слезами и мгновенно переродится!

И вот ничего подобного не произошло; было произведено «большое и шумное действие», были восторги и осуждения, были толки вкривь и вкось, и это все. Разочарование вызывает в авторе душевный перелом, совпадающий с отъездом за границу и знаменующий новую эру в его жизни.

5
За границей и в России (1836–1842)

Гоголь покидал родину, чувствуя себя непризнанным пророком; в нем развивалась мания преследования; ему казалось, что враги хотят его погубить, ославив бунтовщиком, «подрывающим государственную машину». Эта мысль особенно его возмущала, потому что на свою литературную работу он смотрел как на государственную службу. Он хотел «подать помощь правдивому закону Монарха» — и вдруг его объявили крамольником!

Но не успел Гоголь ступить на немецкую землю, как душевное состояние его резко изменилось; все вдруг стало ему понятно; в самой глубине мрака зажегся свет, и душа наполнилась торжественной радостью. Недавняя немощь внезапно обратилась в «львиную силу», и в свете этого озарения ему открылся «непостижимо-изумительный смысл» всей его жизни. И Гоголь пишет друзьям, что он возблагодарил «Великий Промысл, ниспославший все на его воспитание». «Заметно слышу переход свой из детства…в юношеский возраст…Это *великий перелом*, великая эпоха моей жизни». Все, доселе им написанное, кажется ему «давнею тетрадью ученика», и он восклицает:

«Пора, пора, наконец, заняться делом» (Жуковскому, 28 июня 1836 г.). Это дело — писание «Мертвых душ», начатое в Петербурге и прерванное на третьей главе. Но тогда он сочинял без плана, для забавы, а теперь: «Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план…Какой огромный, какой оригинальный сюжет! Вся Русь явится в нем!» — и страницей ниже: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его…Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом» (Жуковскому, 12 ноября 1836 г.). Из этих слов становится понятен характер «великого перелома», происшедшего в Гоголе. Постановка «Ревизора», воспринятая как поражение, заставила его переоценить свое творчество. Перед Гоголем встал вопрос: почему его не поняли соотечественники? почему на него восстали «целые сословия»? И он на это ответил: моя вина. Все, что он доселе писал, было ребячеством: он относился несерьезно к своему писательскому призванию и неосторожно обращался со смехом. Поэтому и могло выйти, что его обвинили в осмеянии России, в клевете на родину. Вина его была, конечно, не в сознательной хуле на Россию, а в «нерадении и лени», в легкомысленном отношении к божию дару — таланту. За то Провидение и послало

ему «неприятности и огорчения», чтобы воспитать его. Теперь он знает, как опасна односторонность изображения, и ставит себе целью *полноту*. Вся Россия должна отразиться в его поэме: «Весь русский человек, со всем разнообразием богатства и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно перед всеми другими народами». Эти слова из «Авторской исповеди» заслуживают нашего доверия.

На первый взгляд может показаться, что Гоголь преувеличивает, говоря о «великом переломе» 36 года. Но нет, перелом был, действительно, велик, ибо в это время у Гоголя родилось сознание, что *он национальный русский писатель*.

* * *

В первый заграничный период жизни (1836–1839) Гоголь полон жизнерадостности и беспечности: он путешествует по Германии и Швейцарии (юмористическое письмо к М. П. Балабиной из Веве), несколько месяцев живет в Париже, где увлекается театром, и, наконец, в марте 1837 года попадает в Рим. Начинается «римская эпоха», история медленной влюбленности Гоголя в Рим и погружения души в чистый эстетизм. Он зовет в Италию Жуковского поклониться красоте. «Здесь престол ея, — продолжает он. — В других местах мелькнет одно только воскраие ея ризы, а здесь она вся глядит прямо в очи своими пронзительными очами. — Я весел. Душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой» (Жуковскому, 30 октября 1837 г.). В Риме Гоголь живет среди художников, изучает изящные искусства, занимается «чтением Рима», учится живописи.

«В душе небо и рай…никогда я не был так весел, так доволен жизнью» (Данилевскому, 2 февраля 1838 г.). Это не мешает ему постоянно жаловаться на мучительные болезни, припадки хандры, периоды мертвенности и уныния. Нет почти ни одного письма, даже самого жизнерадостного, где бы не звучала жалоба на недуги. В 36 году в Веве «доктор отыскал признаки ипохондрии, происходившей от геморроид». В 37 г.: «Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться» (Плетневу). В 38 г.: «Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок» (Погодину). «В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему» (Данилевскому). В 39 г.: «Слышишь, видишь, как вызывает все на жизнь, на чудное наслаждение, а

между тем у тебя в брюхе сидит дьявол» (Данилевскому).

Любопытно сравнить эти слова с показанием Анненкова, жившего с Гоголем в Риме: «Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком».

Самой серьезной из болезней Гоголя в этот период была мнительность.

* * *

С пребыванием Гоголя в Риме связан вопрос о его увлечении католицизмом. Вот данные, которыми мы располагаем: 1) В Риме Гоголь бывал у кн. Зинаиды Волконской, вновь обращенной в католичество, и дружил с М. П. Балабиной, которая тоже склонялась к этой религии; 2) через Волконскую и Балабину он познакомился с кардиналом Меццофанти, с аббатом Ланчи и несколькими другими священниками; в письме к Балабиной (1838 г.) он называет кардинала «наш приятель» и рассказывает об аббатах «ваших друзьях»; 3) усердно посещал католические храмы и 4) должен был успокаивать мать, встревоженную слухами о его переходе в католичество. Вот что было в действительности: Гоголь некоторое время встречался с Петром Семененко и Иеронимом Кайсевичем, католическими ксендзами, участниками польского восстания 1830–1831 года. Они жили в Риме, вербуя приверженцев своему учителю Богдану Яньскому, другу Мицкевича и основателю в Париже нового католического монашеского ордена «Воскресения Господни» (X. Pavel Smolikowski, Historia zgromadzenia zmartwychwstania panskiego. Krakow, 1893).

В письмах Семененко и Кайсевича выражается надежда на обращение Гоголя в католичество.

> «Если со временем глубже на него повлиять, то может быть он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. Княгиня (З. А. Волконская) питает эту надежду»…
>
> *(Петр Семененко Богдану Яньскому, 17 марта 1838 г. из Рима).*

> «Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше»

(Иероним Кайсевич. Дневник).

Но надежды польских монахов не оправдались: как только княгиня Волконская уехала из Рима, Гоголь немедленно прекратил всякие сношения с учениками Яньского. Вполне правдоподобно предположение В. Вересаева (Гоголь в жизни. Academia, 1933), что «скрытный и очень практичный в житейских делах, Гоголь просто водил за нос, охотившихся за ним польских монахов. Единственная его цель была угодить богатой и знатной княгине Волконской, фанатической католичке». Гоголь и не думал никогда о перемене веры: католические церкви и богослужение пленяли его прежде всего эстетически. Он изучает художественные памятники Рима. «Если случится, что нет солнца, — пишет он Плетневу (1837 г.), — то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления». Гоголь не только любуется церквами, но и молится в них: от любования легко переходить к умилению. Молится, растроганный красотой. «Отправлюсь помолиться за тебя в одну из этих темных, дышащих свежестью и молитвою церквей», — пишет он Данилевскому (1838 г.). Для художника Гоголя поклонение красоте естественно переходило в религиозное настроение.

> «Я решился идти сегодня же в одну из церквей римских (ибо в одном только Риме молятся; в других местах показывают только вид, что молятся)».

Слова в скобках могут вызвать недоразумение; между тем Гоголь вовсе не хочет сказать, что только в Риме — истинная религия; он просто отмечает благочестивость римского населения; он влюблен в свой Рим; все в нем, начиная природой и кончая молитвой верующих, лучше, чем во всех других странах. Он молится в католических церквах, потому что они прекрасны, потому что в них царит прохладный полумрак и, наконец, потому что он почти не различает католичества от православия. На опасения матери он отвечает, что веры своей не переменит, ибо «как религия наша, так и католическая*, совершенно одно и то же* и потому совершенно нет надобности переменить одну на другую…Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться». Это письмо достаточно убедительно. Когда представители польской секты «змартвых-встанцев» пытались обратить Гоголя, тот просто не понимал, чего они от него хотят. Рим способствовал усилению в нем религиозности, но она носила эстетически-мистический характер и была чужда всякой

догматики.

* * *

К первому заграничному трехлетию относится расцвет дружбы Гоголя с Данилевским и с Иосифом Вьельгорским. Гоголь был способен на самоотверженную и пламенную дружбу; такова была его юношеская привязанность к лицейскому товарищу Г. Высоцкому, тридцатилетняя дружба с А. Данилевским, возвышенное, полное нежной жалости чувство к чахоточному Иосифу Вьельгорскому; таковы его отношения с А. О. Смирновой, А. М. Вьельгорской и М. П. Балабиной.

Быть может, чувство дружбы было единственной доступной Гоголю формой любви: ведь нельзя назвать любовью то стыдное и страшное вожделение, которое грозило «обратить его в прах» и которое он подавлял в себе силой воли.

Дружба Гоголя с Высоцким была кратковременна: она не пережила лицейских годов. Дружба с А. С. Данилевским прошла через всю жизнь писателя. Данилевский был родственник и сосед его по имению; вместе учились они в нежинском лицее; в школьных любительских спектаклях приятель Гоголя исполнял женские роли — так он был миловиден. Сестра Гоголя, Анна Васильевна, рассказывала:

> «Брат всегда был доволен и весел, когда к нему приезжал Данилевский, а как красив был Данилевский в молодости, какой был приятный и добрый!»

О своей юношеской дружбе вспоминает Гоголь в монологе «Ночи на вилле»:

> «…Ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности, когда сладко смотреть очами в очи, когда весь готов на пожертвования, часто даже вовсе ненужные».

Гоголь путешествует с Данилевским по Европе в 1836 году; расставшись в Париже в 1838 году, они оживленно переписываются. О тоне писем Гоголя можно судить по следующим отрывкам:

«Прощай, мой милый, мой добрый! Целую тебя бессчетные количества, шлю о тебе нескончаемые молитвы…Прощай, мой ближайший мне!» «Боже мой! если бы я был богат, я бы желал…чего я бы желал? Чтоб остальные дни мои я провел с тобою вместе…Чувствую, что ты бы наполнил дни мои, которые теперь кажутся мне пусты».

В 1839 году Гоголь переживает свою последнюю привязанность, быть может, самое чистое и возвышенное чувство всей своей жизни.

В Риме Гоголь познакомился с семьей графа Вьельгорского и подружился с двадцатитрехлетним, умным и талантливым Иосифом Вьельгорским. «Благородно-высокая, младенчески-ясная душа», «один единственно прекрасный и возвышенно-благородный», — пишет Гоголь. Вьельгорский был болен чахоткой; Гоголь просиживал бессонные ночи у его постели. «Ночи на вилле» напоминают отрывки из дневника. Их автобиографичность подтверждается письмами; они стоят совершенно особо в гоголевском творчестве и не похожи ни на одно его произведение: это — сжатая, краткая запись слов и движений умирающего; автор записывает самое важное с волнением, дрожащей рукой; видит надвигающуюся смерть и торопится вырвать у нее последние звуки, последние жесты любимого друга. Впечатление полной точности и правдивости.

«Они были сладки и восхитительны эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем…Мне было так сладко сидеть возле него! Уже две ночи как мы говорим друг другу *ты*. Как ближе после этого он стал ко мне*!*……Я сошел к нему в 10 часов. Он уже более часу сидел один. Гости, бывшие у него, давно ушли. Он сидел один. Томление, скука выражались на лице его. Он меня увидел; слегка махнул рукой.

«— Спаситель ты мой! — сказал он мне. Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова.

— Ангел ты мой! ты скучал?

— О, как скучал! — отвечал он мне.

Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он все еще жал мою руку. ……Я глядел на тебя, милый мой молодой цвет. Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целым десятком, чтобы отчаяннее и

безнадежнее увидел исчезающую мою жизнь».

Смерть Вьельгорского — прощание Гоголя с юностью; после нее наступает оцепенение, которое он называет «мертвящей остылостью чувств».

* * *

Кризис 40 года если не вызван, то тесно связан со смертью Вьельгорского: столкнувшись *впервые* лицом к лицу со смертью, Гоголь увидел ее уже не в ореоле народной мифологии или романтической фантастики, а в простой и страшной действительности.

> «Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего на земле! Едва только оно успеет показаться, — и тот же час смерть, безжалостная, неумолимая смерть! Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы».

Таким мрачным признанием завершается счастливое трехлетие жизни за границей. После периода напряженной жизнерадостности и эстетического упоения Италией смерть Вьельгорского пробуждает Гоголя от «райского сна».

Красота должна погибнуть, и любовь уходит из стынущего сердца…Нельзя до конца понять дальнейший мистико-аскетический путь Гоголя, если не помнить, что для него в один прекрасный день от всего мира понесло «запахом могилы».

Между смертью Вьельгорского и кризисом 40 года приходится путешествие в Россию, во время которого Гоголь был поглощен семейными и денежными хлопотами. Он тоскует по своей «душеньке Италии» и, не пробыв в России года, снова уезжает за границу (в июне 1840 г.).

Лето он проводит в Вене; на него находит вдохновение необычайной напряженности: он набрасывает трагедию из истории Запорожья, переделывает «Тараса Бульбу» и один отрывок из «Владимира 3-й степени», пишет «Шинель» и три новых главы «Мертвых душ». Трудно поверить, что все это создается за месяц с небольшим! Творческое напряжение, граничащее с чудом; и после него — срыв. Гоголь заболевает. Вот что он сообщает М. П. Погодину (октябрь 1840 г.).

«Нервическое мое пробуждение обратилось вдруг в

раздражение нервическое. Все мне бросилось разом на грудь. Я испугался…К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, что было ужасно, *это была та самая тоска, то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вьельгорского в последние минуты жизни*». Гоголь пишет завещание и готовится к смерти.

Подчеркнутые слова ясно определяют характер «тоски», овладевшей Гоголем. Это был страх смерти.

Потрясающее впечатление, пережитое у постели умершего друга, ложится поверх его нервного заболевания и превращает его в психическое переживание умирания. Наивно было бы возражать, что болезнь Гоголя была не смертельна и, по-видимому, даже не опасна. Субъективно, в своей внутренней реальности, Гоголь умирал. Он знал, что умирает, так как видел в себе все те признаки, которые год назад с отчаянием наблюдал в юном Вьельгорском.

Человек, переживший такой опыт, сошедший в могилу и снова вернувшийся к свету дня, — возвращается неузнаваемым. В Гоголе рождается новая личность; конечно, вся его эмпирическая индивидуальность, все его свойства, качества и особенности остаются в нем; меняется само метафизическое ядро «я», таинственная основа души. О том, что с ним произошло в страшный миг, когда он умирал, Гоголь говорит намеками. Он утверждает одно: было Божественное вмешательство, чудо милости Божией.

«Теперь я пишу к вам (к Иванову, 1841 г.), потому что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни».

Таков мистический опыт Гоголя. Подлинность его подтверждается тем фактом, что после 40 года Гоголь *действительно* становится другим человеком. Этот новый человек не возникает ex nihilo; он связан преемственно со всем прошлым Гоголя; но *качественно* он другой. Это чувствуется сразу: другой голос, другая интонация, другой тембр. Для Гоголя в пределах прежней жизни возникла иная: два несоизмеримых сознания, уживающихся вместе.

«Я не скажу, что я здоров, — пишет он Жуковскому, — нет, здоровье, может быть, еще хуже, но я более, нежели здоров. Я слышу часто *чудные* минуты, чудной *жизнью* живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом и никакого блага и

здоровья не взял бы. Вся жизнь моя отныне — один благодарный гимн».

Всякая попытка рассказать о «втором» сознании приводит к алогизму («я не здоров, но более чем здоров») и к тусклым эпитетам («чудный»). Любопытно перерождение человека, пережившего такой опыт: мнительный, боязливый Гоголь ради новой «чудной жизни» готов пожертвовать даже здоровьем.

Но милость Божия, открывшаяся Гоголю в чуде его исцеления, оказалась для него источником соблазна и невообразимых страданий. До конца объяснить это нельзя; в этом глубинная и трагическая тайна души Гоголя, тайна его метафизической судьбы. Но в психологическом плане толкования возможны. Драма Гоголя начинается с того момента, когда он слышит голос Божий, но не может последовать зову, то есть вступить на путь подвижничества. Для этого ему нужно перестроить все свое сознание, перевернуть всю душу. Этой мучительной работой наполнены последние двенадцать лет его жизни. Гоголь вырос в атмосфере романтизма, с его культом сильной личности и эгоцентризмом. И в искусстве, и в философии романтизм был человекобожием. Гоголь — крайний, напряженный индивидуалист; с детских лет его ведет честолюбие, самоутверждение, славолюбие. С лицейской скамьи он повторяет: «Я послужу человечеству», и в этой фразе ударение падает не на «человечество», а на «я». Поэтому посланное ему откровение вызывает в нем не смирение, а гордыню. Он и раньше чувствовал себя избранником, отмеченным особой заботой Промысла, а теперь впадает в явный соблазн: ему кажется, что он пророк, святой, почти мессия. Чтение Святого Писания влияет на его слог; библейской торжественностью звучат его слова.

«Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, — пишет он Данилевскому в 1841 году, — ибо вдвойне властно над тобою мое слово и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова. О верь словам моим! *Властью высшей облечено отныне мое слово*».

Через год тому же другу он пишет еще более жуткие слова:

> «Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании — отделится сила в твою душу…*Вместе с письмом сим несется к тебе благословение и сила*».

В письме Прокоповичу (1842 г.) Гоголь сообщает:

> «Три-четыре слова, посланные мною еще из Рима,

низвели свежесть в его (Данилевского) душу. Очередь твоя. Имей в меня каплю веры и *живящая сила отделится в твою душу*».

На языке аскетики такое состояние называется «впадением в прелесть». Гоголь упоен своей мнимой святостью; он раздает направо и налево благословения (Жуковскому: «Благословляю вас. Благословение это не бессильно, и потому с верой примите его». 1842 г.). Он доходит до кощунственного подражания словам Христа:

> «Никто из моих друзей не может умереть, потому что он вечно живет со мной»
>
> *(Аксакову, 1840 г.)*.

Но и в соблазне Гоголя бывают истинные духовные прозрения. Он часто блуждает в ослеплении, но оно — от света. Он что-то знает, что-то провидит, что-то предчувствует: «Помните, — пишет он Аксакову (в 1842 г.), — что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес…Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы Всевышней милостью Бога оно ниспустилось в наши души».

* * *

В конце 1841 года Гоголь приезжает в Россию печатать первый том «Мертвых душ».

С. Т. Аксаков находит в нем большую перемену:

> «В этот год последовала новая, большая перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен и тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове».

Пребывание писателя на родине было омрачено затруднениями по изданию «Мертвых душ», цензурными придирками, болезненным состоянием, материальными заботами. Но самое тягостное, что суждено было ему пережить за это время, это сознание своей полной отчужденности от России.

«Если бы ты знал, — пишет он Максимовичу, — как тягостно мое существование здесь в моем отечестве». А в письме к Балабиной говорит об этом яснее:

> «С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине».

Гоголь охладел к друзьям, возненавидел Москву и решил уезжать, не закончив дел. «Меня томит и душит все, и самый воздух», — говорит он. Решение его было неожиданно для приютившей его семьи Аксаковых. «Часов в семь после обеда, — рассказывает С. Т. Аксаков, — вдруг вошел к нам Гоголь с образом Спасителя в руках, с сияющим и просветленным лицом. Он сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом; но никто не сделал этого. Наконец преосвященный Иннокентий благословил меня, и теперь я могу объявить, куда я еду: я еду ко гробу Господню».

Летом 1842 года Гоголь снова покидает Россию, на этот раз на целых шесть лет; уезжает озлобленный против своих соотечественников и глубоко неудовлетворенный самим собой. Как мог он так ошибиться в себе? Он ехал в Россию, чтобы остаться в ней навсегда, и восторженно писал С. Т. Аксакову:

> «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени прижму вас к моей русской груди».

И вот не прошло и восьми месяцев, как он снова в дорожном экипаже на пути в Италию.

В конце 1842 года Гоголь подготовляет к печати полное собрание своих сочинений в четырех томах. Этой датой замыкается последний литературный период его жизни. Остальные десять лет он медленно и неуклонно уходит от искусства.

6
Снова за границей (1842–1847)

Загадка собственной природы занимала Гоголя с юношеских лет. Уже в 1829 году он замечал в себе «страшную смесь противоречий»; в начале сороковых годов противоречия эти обострились; душа его как будто раскололась на две части; она начинает жить в двух планах, двумя разными жизнями. Этот разлад становится для писателя источником мучительной борьбы. О Гоголе можно было бы написать две биографии, стоит только распределить материалы о нем на две части: светлое лицо и темное. В сущности, биографы, начиная с самых ранних, Кулиша и Шенрока, так и поступали. Вот почему у нас до сих пор нет единого Гоголя. Следовало бы наконец признать противоречивость натуры Гоголя и оставить попытки примиряющего синтеза. Подводить автора «Мертвых душ» под «гармонию» — значит подменять его личность собственным вымыслом.

Лето 1842 года Гоголь проводит в Германии, а в октябре поселяется в Риме вместе с Н. М. Языковым. По вечерам у постели больного поэта собирались: Гоголь, художник Иванов и Ф. В. Чижов. Римские друзья сразу заметили перемену, происшедшую в Гоголе: он не ходил больше к Фалькону (ресторан Al Falcone), где раньше любил плотно покушать; был угрюм и молчалив. Иногда часами не произносил ни одного слова или же рассказывал анекдоты, «почти всегда довольно сальные». «Это можно объяснить тем, — продолжает свои воспоминания Ф. В. Чижов, — что тогда в душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. «Внутренняя работа» и «сальные анекдоты» — две половины гоголевского лица.

В Риме он жил совсем по-студенчески, без слуги; говаривал, что нет участи выше монашеской. Однажды заболела приятельница Чижова. Гоголь спросил его: «Была ли она у Святителя Митрофана?» Чижов отвечал, что не знает. «Если не была, — продолжал Гоголь, — то скажите ей, чтоб она дала обет помолиться у его гроба. Сегодняшнюю ночь за нее здесь сильно молился один человек, и передайте ей его убеждение, *что она будет здорова*».

Конечно, «один человек» — сам Гоголь. И какая самонадеянность!

В начале 1843 года в Рим приехала А. О. Смирнова, близкий

друг Гоголя. Он водил ее по Риму и «хвастал Римом так, как будто это его открытие» (воспоминания А. О. Смирновой). На страстной неделе Гоголь говел, и приятельница его заметила его религиозный подъем. «Он становился обыкновенно поодаль от других и до такой степени бывал погружен в молитву, что, казалось, не замечал никого вокруг себя».

Между тем, со времени приезда Смирновой, писатель совсем забросил своих друзей-художников (до нас дошли резкие отзывы о нем Ф. Иордана и А. Иванова); даже вывезенного им из России больного Языкова, не знавшего по-итальянски и поэтому вдвойне беспомощного, он по неделям оставлял одного. Языков писал: «Холодно мне и скучно и даже досадно, что я согласился на льстивые слова Гоголя и поехал в Рим, где он хотел и обещался устроить меня как нельзя лучше, на деле вышло не то».

Дружба Гоголя с Смирновой была особенная, ревнивая и нежная. В России ходили слухи — совершенно вздорные — о том, что Гоголь влюблен в Смирнову. Летом они встретились в Бадене; Гоголь каждый день у нее обедал, а после обеда регулярно читал ей «Илиаду» в переводе Гнедича. В декабре он вслед за ней приехал в Ниццу и также почти ежедневно у нее обедал; «но уж не читал больше после обеда «Илиады», а вытаскивал из кармана толстую тетрадь выписок из Святых Отцов». Смирнова вспоминает далее, что у Гоголя в небольшом чемодане было «только необходимое для того, чтобы быть чистым». Однажды он сказал: «Я заметил, что у меня в чемодане завелась ненужная вещь; я вам ее подарю». И на другой день он принес рисунок Иванова.

Письма этого периода вполне согласуются с рассказом А. О. Смирновой. Они показывают нам Гоголя в состоянии громадной внутренней перестройки.

Первый том «Мертвых душ» вышел в свет; Гоголь приступал к работе над вторым — и перед ним вставал вопрос: как продолжать? Как выполнить все те величественные замыслы, о которых загадочно упоминалось в пером томе? Осознав себя после «великого перелома» 1836 года национальным русским писателем, он задумался над русской природой и пришел к следующему заключению: «Чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще. С этих пор человек и душа человека сделались больше чем когда-либо предметом наблюдений». Так схематически изображает Гоголь в «Авторской исповеди» свой путь от романтической фантазии к психологическому реализму. Этой цели можно было достигнуть двумя путями: внешним — читая «книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за

природой человека», и внутренним — работая над познанием и воспитанием собственной души.

Автор «Ревизора» не преувеличивает, говоря о своем невежестве и о том, что ему приходилось начинать с самых первоначальных книг; из лицея он не вынес никаких знаний, читать не любил, философией и богословием никогда не занимался. Теперь он смотрит на себя, как на школьника; запасается книгами и начинает серьезно учиться. Мы уже знаем, что Гоголь читал Смирновой Гомера, которого считал величайшим мудрецом и душеведцем. Постепенно в круг его чтения входят книги духовные и вытесняют писателей светских. Он рекомендует Языкову чтение церковных книг и просит прислать ему произведения Дмитрия Ростовского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского и «Христианское чтение» за 1842 год. В 1844 году он выписывает из Москвы «Добротолюбие», Иннокентия и сочинения Святых Отцов. С. Т. Аксакову посылает «Подражание Христу» и просит читать его каждый день по одной главе. В письмах чувствуется влияние святоотечественной литературы и встречаются цитаты из нее (например, из Иоанна Златоуста).

Но внешний путь, при неполном и случайном подборе книг и неподготовленности Гоголя к богословской науке, не мог его удовлетворить. Главное внимание его поэтому направилось на путь внутренний — духовное самовоспитание. Как понимал Гоголь эту задачу?

В письмах 1842–1844 годов он постоянно возвращается к этой идее. Постепенно из расплывчивого понятия она превращается в религиозно-моральную теорию. Основа «душевного дела» — *церковность*; Гоголь придает большое значение посещению церковных служб, говению, исполнению обрядов. Вот письмо к Языкову (1843 г.): «Дай мне слово говеть, приехавши в Москву, при первом случае…Сделай также следующее заведение: всякую субботу ввечеру отслужи у себя всенощную» (Языков, прикованный к постели, не мог ходить в церковь). Гоголь нуждается в твердости устава, канона, обряда; чтобы разобраться в своей душевной сложности и противоречивости, ему необходим «камень веры», благолепие богослужения, незыблемость «закона». Он любит и для себя самого, и для своих друзей составлять правила, расписание времени, обязательные чтения и упражнения. (В письме к Л. К. Вьельгорской в 1844 году Гоголь спрашивает, читает ли она те правила, которые он ей оставил.)

После церковной и домашней дисциплины следует познание своей греховности. К 42 году у Гоголя начали появляться сомнения в своем избранничестве; когда моменты мистических

восторгов проходили, уверенность в своем пути к святости ослабевала; он видел свою «темную сторону»: греховность, «душевную черствость». Автор «Мертвых душ» ощущал в собственной душе начало зла и смерти. И вот начинаются упорные и кропотливые розыски недостатков и пороков. Гоголь склоняется над своей душой, как над темной пропастью, на дне которой кишат страшные, ему самому неведомые гады. Как бороться с грехами, которых даже не сознаешь? Единственное средство — обращение за помощью к ближнему.

Выход в свет «Мертвых душ» кажется ему благоприятным случаем; он просит друзей, литераторов и просто читателей критиковать его произведение возможно строже.

«Чем больше отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя заслуга, — пишет он Шевыреву (1842 г.) —…Нет, может быть, в целой России человека, так жадного узнать все свои пороки и недостатки».

Жуковскому он пишет уже не о «недостатках», а о «грехах».

> «Грехов, указанья грехов желает и жаждет теперь душа моя! Если б вы знали, какой теперь праздник совершается внутри меня, когда открываю в себе порок, дотоле не примеченный мною!»

То же повторяется в письме к Смирновой (1842 г.): он просит ее записывать все, что говорят в публике о «Мертвых душах»; «хула и осуждение для меня слишком полезны».

И, наконец, в письме к Плетневу (1842 г.) Гоголь объясняет причину своего странного любопытства:

> «Тому, кто стремится быть лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих проступках перед всем светом. Без этого сознания не может быть исправления».

Духовный путь Гоголя начинается с выставления самого себя на всенародное обличение и посрамление. Перед лицом всей России он готов выслушать обличение своих грехов и принести покаяние. Говорит он об этом искренно, со смирением и полным отсутствием самолюбия. В этой жажде обнажить свою душу перед всеми, выставить напоказ все свои мерзости есть и бесстыдство и юродство. С одной стороны, унижение паче гордости, с другой — духовный подвиг. Друзья Гоголя приняли это за чудачество, за тщеславное любопытство, за нелепый каприз. А читатели просто недоумевали. И немудрено. Гоголь явно смешивал три разных плана: для него были равнозначащи его недостатки писателя, пороки человека и грехи христианина. Как будто критики и

читатели художественного произведения могли, вместе с эстетическим разбором, преподать ему нравственное и религиозное назидание! К такому отожествлению художника с христианином не были подготовлены друзья Гоголя. Только в 47 году стал известен в печати взгляд Гоголя на «Мертвые души» как на «историю души» самого автора и на героев поэмы как на воплощение его собственных пороков.

С 42 года начинается недоразумение между писателем и его друзьями, взаимное отчуждение между Гоголем и русским обществом; трещина все расширяется, и вокруг души автора «Ревизора» растет пустота; к 47 году (год появления «Выбранных мест из переписки с друзьями») становится ясно, что Россия не понимает и не принимает «учения» Гоголя.

Почему «душа человека» стала предметом изучения Гоголя? Почему он занялся собственным «душевным делом», духовным самовоспитанием? Уход ли это от литературы? Измена ли искусству? Такие вопросы задавали Гоголю его петербургские и московские друзья. В ответе на их тревогу Гоголь пытался поделиться с ними истиной, которая недавно ему открылась. Но в эстетической и романтической атмосфере эпохи это религиозное учение было неожиданно и странно, и слова Гоголя просто не доходили.

Гоголь говорил: чтобы творить красоту, нужно самому быть прекрасным; художник должен быть цельной и нравственной личностью; его жизнь должна быть столь же совершенна, как и его искусство. Служение красоте есть нравственное дело и религиозный подвиг. Чтобы исполнить долг перед человечеством, возложенный на него, писатель должен просветить и очистить свою душу. Одним словом, чтобы закончить «Мертвые души», автору нужно стать праведником.

Такова основная идея Гоголя, ей он принес в жертву свой талант и свою жизнь. Он был мучеником идеи. Уехав из России в 1842 году, Гоголь в словах торжественных и вдохновенных пишет Жуковскому о «воспитании души своей». Тон — взволнованный и лирический; можно думать, что письмо написано непосредственно после озарения, когда в душе еще не остыл восторг «открытия».

> «Много труда и пути и душевного воспитания впереди еще! Чище горного снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиг и великое поприще, *тогда только разрешится загадка моего существования*».

Образ художника и образ человека сливаются воедино.

Двойным смыслом звучат слова «подвиг» и «поприще»: аскетический путь и создание поэмы — единая лестница, ведущая к Богу.

Через год (в 1843 г.) те же мотивы развиваются в письмах к Шевыреву и Плетневу.

«Я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, — сообщает Гоголь Шевыреву, — благодаря тем *подвигам*, которые я предпринял к *воспитанию* моему».

А Плетневу:

> «Сочинения мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих сочинений».

И дальше Гоголь впервые употребляет выражение, ставшее впоследствии его любимым: «внутреннее хозяйство».

Он подчеркивает практический, житейский характер своего дела. Это не взлеты в потусторонние миры, не мистические созерцания, а ежедневная, прозаическая «черная» работа. Не отрешенность от житейского, а, напротив, полная в него погруженность. Нужно «устроить» свою душу, навести порядок во «внутреннем хозяйстве». Аскетический подвиг, смиренно понимаемый как некое «домоводство».

Неразрывная связь эстетики с религией в мировоззрении Гоголя ясно показана в письме к Плетневу (1844 г.):

> «Я знаю, что нужно чистоты душевной и лучшего устроения себя и почти *небесной красоты* нравов. Без того не защитишь ни самого искусства, как и всего святого, которому оно служит подножием».

Эта цепь утверждений, проходящая через 42, 43 и 44 годы, сводится к великой мысли о целостности христианской культуры. Душа человека из раздробленности и затемненности греховного состояния должна подняться к светлой цельности; делу своей жизни человек должен отдаться весь, духом и телом. Исполняя свой подвиг, он призван стремиться к *небесной красоте* и божественному совершенству. До нас дошли молитвы, которые читал Гоголь во время работы над «Мертвыми душами». Приведем один отрывок:

> «Боже, соприсутствуй мне в труде моем, *для него же призвал меня в мир*…Верю, яко не от моего произволения

> началось сие самое дело, над ним же работаю во славу Твою. Ты же заронил и первую мысль…Ты же один дашь силы и окончить, все строя ко спасению моему…»

Это мировоззрение — законченно и глубоко духовно. Никакого «мрачного мистицизма» нет в нем, есть трезвость и практичность. Гоголь открыл для себя истину о религиозном смысле человеческой жизни и поверил в нее пламенно и всецело. Необычность его поведения, столь поразившая современников, заключалась единственно в том, что эту истину он стал проводить в жизнь. Увидев в призвании художника путь к спасению души, Гоголь покорно до могилы донес страшную тяжесть своей ответственности. Эта тяжесть раздавила его.

* * *

К началу 1844 года в переписке Гоголя появляются новые черты. Исчезает прежнее самодовольство: Гоголь становится сдержаннее, углубленнее. Кончается первый этап духовного пути: чувство радостной легкости и уверенности в своих силах; изучение души привело к острому ощущению первородного греха; наблюдение над миром породило ужас перед могуществом зла. Раньше писателю казалось, что он поднялся высоко по лестнице совершенства, теперь он снова видит себя на первой ступени; чувствует естественное влечение человеческой души ко злу и сопротивление ее добру. На своем личном опыте понимает, что Царство Божие берется только усилием.

«Мы так устроены, — пишет он Данилевскому (1844 г.), — что все должны приобретать насильно, и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым».

То же и в письме к матери (1844 г.):

> «Скажу вам о себе, что до сих пор мне не удалось ни одного полезного дела сделать, не *принудив* прежде к тому себя насильно».

О себе Гоголь говорит с презрением, отыскивая в себе все новые «гадости» и «мерзости». Но самое примечательное в письмах 44 года — место, которое отводится в них дьяволу. Аскетический подвиг обострил духовное зрение Гоголя: его прирожденная чувствительность ко злу принимает форму распознавания демонических сил в мире. Порой шутливо, порой вполне серьезно, пишет он друзьям об «общем приятеле» — черте.

Характерно письмо к Аксакову (1844 г.):

> «Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, — именно черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья…
>
> …Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем.…Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом, и потом подъедет с другой стороны, в другом виде, нельзя ли как-нибудь привести в уныние…Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело.
>
> …Я сделался несколько умней, вижу ясней многие вещи и называю их прямо по имени, т. е. черта называю прямо чертом».

В этом шутливом тоне чувствуется личная мука и ненависть. Аскетическая литература научила Гоголя бороться с «бесовским унынием», этим «порождением» злого духа. И все же в течение этого периода как часто в его письмах повторяются жалобы на тоску и припадки уныния!

Мотив дьявола повторяется — но уже в серьезном тоне в письме к матери (1844 г.). «Как только уже слишком твердо на что-нибудь решишься, тогда только убежит лукавый дух, слыша, что сам Бог идет к нам на помощь». Языкову Гоголь пишет, что на болезнь нужно смотреть как на сражение с дьяволом; Погодину сообщает, что очень тяготился его гостеприимством (Гоголь в 1841 году жил в Москве в доме Погодина), так как ему казалось, что в Погодина «поселился дух тьмы», и прибавляет: «Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистою силою».

Выписок этих достаточно, чтобы представить себе «душевный пейзаж» Гоголя: несчастное человеческое сознание, повисшее между двумя безднами — бездной мира, владеемого дьяволом, и бездной души, растленной осознанными и неосознанными грехами. Внизу — пламя ада, вверху — Неподкупный Судия; везде — дыхание Смерти и впереди — Страшный Суд. Картина, напоминающая сцену средневековой мистерии. И это сходство не случайно: мироощущение Гоголя — средневековое.

Но это только одна сторона духовной жизни Гоголя — царство греха; его мраку противостоит свет другой стороны — царство благодати. Гоголь вовсе не был изможденным постником и мрачным аскетом. Несмотря на постоянные недомогания, тон его настроения в эти годы радостный. Смирнова пишет, что в 1843 году в Ницце Гоголь «был весел», так же светел его дух в 1844 году, когда он живет во Франкфурте с Жуковским. Ему было

дано познать не только содрогание перед мировым злом, но и радость о Боге. В письме к Смирновой (1844 г.) Гоголь говорит о «благодатных состояниях», предостерегает от излишнего упоения ими, и в его словах чувствуется личный опыт. Он знает, что в «минуты благоволения Божия» человек может возгордиться и забыть, что эти знаки небесной милости «даются вовсе не за заслуги».

> «Просите (у Бога) только дать возможность произвести больше подвигов и с тем вместе просите только о том, чтобы Он не награждал нас за них в этой жизни».

Слова глубокой мудрости и смирения.

Гоголь знал и другую опасность, подстерегающую вступившего на духовный путь: привнесение земной страстности в любовь ко Христу, сублимацию чувственности. «Берегитесь всего страстного, — учит он свою приятельницу, — берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог».

Трудна была борьба Гоголя с самим собою; на месте искорененных пороков выступали новые, еще более тяжкие; взлет к смирению оканчивался падением в вящую гордость; любовь к людям на деле часто выражалась в холодных поучениях, обвинениях, самолюбивых обидах и ссорах. Каждый шаг давался ценою судорожных усилий. Светлые минуты сменялись долгими периодами сердечной засухи, душевной черствости, «безблагодатности». И — параллельно — так же мучительно, медленно и неудовлетворительно влачилась работа над вторым томом «Мертвых душ». У Гоголя бывали минуты смертельной тоски и отчаяния. Казалось, что вдохновение навсегда его покинуло, что все потеряно — и счастье жизни, и спасение души. Во время таких страшных искушений он молился. И тогда «злой дух» отступал от него и он чувствовал, что путь его истинный.

Есть в письме Гоголя к Языкову (1844 г.) указание на то, как нужно молиться. Этот небольшой отрывок мог быть написан только высокодуховным человеком; он достоин видного места в русской религиозной литературе. «Все ведет к тому, — пишет Гоголь, — чтобы мы крепче, чем когда-либо прежде, ухватясь за крест, плыли впоперек скорбей. Есть средство в минутах трудных, когда страдания душевные или телесные бывают невыносимо мучительны; его добыл я сильными душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состояние, *бросайся в плач и слезы*. Молись рыданием и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но *как молится утопающий в волнах*,

ухватившийся за последнюю доску».

Впечатление страшное и величественное: внезапный свет освещает тайную историю души Гоголя; мы слышим его молитву в «плаче и слезах», то, что он сам называл «вопль душевный».

* * *

1844 год закончился для Гоголя сложными недоразумениями с друзьями. Торопясь уехать из России в 1842 году, он поручил издание собрания сочинений своему нежинскому товарищу Прокоповичу. Тот по неопытности дал себя обмануть типографам. Гоголь пришел в негодование от бумаги, печати и опечаток, сгоряча написал очень резкое письмо Прокоповичу и потребовал от него отчета. Последний доложил свои собственные деньги и прекратил с Гоголем переписку. Плетнев вступился за обиженного Прокоповича и написал Гоголю письмо, в котором обличал его в «безграмотности», рекомендовал воспитывать в себе нравственное чувство, приучаться мыслить и «укрощать буйное невежество». «Но что такое ты, — спрашивал Плетнев, — как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы?» Тон письма незаслуженно оскорбительный и уничтожающий. В ответ Гоголь пишет смиренное и трогательное письмо, в котором он даже и не пытается оправдаться. Ему хочется «утешить огорченного друга»: «Брани меня; мне будет приятно всякое твое слово, даже если бы оно было гораздо пожестче тех, которые в письме твоем. Но не досадуй на меня в душе». И Гоголь называет себя «страдальцем», все слова которого понимаются в превратном значении; все в нем усомнились, перед ним закружился «целый вихрь недоразумений».

Гоголь решает «не развязать, а разрубить узел»; он пишет одновременно Плетневу и Шевыреву о возникшем у него плане:

> «Виноват во всем я, кроме всех прочих вин, я произвел всю эту путаницу и ералаш; я смутил и взбаламутил всех, произвел во всех до едина чувство неудовольствия…Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самого себя, чем ожидать наказания Божьего. Я наказываю себя лишением денег, следуемых мне за выручку собрания моих сочинений…Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но достойным студентам».

Этой жертвой он хотел вступить на путь религиозного

делания и жизнью засвидетельствовать о происшедшей в нем перемене. Нет никаких оснований сомневаться в искренности и в бескорыстии Гоголя. Но великодушному замыслу не суждено было осуществиться: получив письмо Гоголя, Плетнев в замешательстве показал его Смирновой, а та собственным умом порешила, что Гоголь не имеет права обрекать на бедность себя и свою семью, и сообщила ему: «Туда (т. е. в Васильевку) пошлется сколько можно, а остальное перешлется Вам».

Просто не верится, что самые близкие к Гоголю люди могли быть так бесцеремонны, грубы и невнимательны к нему. Гоголь пишет Смирновой усталое и скорбное письмо, в котором «просит, молит и требует именем дружбы исполнить просьбу». Но он так и не допросился. Дело было замято, и Гоголь покорился.

Рассмотрение периода 1842–1845 годов можно заключить «душевным воплем» Гоголя, который на фоне всего рассказанного приобретает особенно трагический смысл.

> «…Иногда положение человека может быть так странно, что он похож на одержимого летаргическим сном, который видит и слышит, что его все, даже самые врачи, признали мертвым и готовятся его живого зарывать в землю; и видя и слыша все это, не в силах пошевельнуть ни одним суставом своим».

Но все эти обличения, обиды и несправедливости, весь этот «вихрь недоразумений» был только первым, еще слабым раскатом надвигавшейся грозы. Что они по сравнению с той «страшной анатомией над живым телом», которую предстояло пережить Гоголю после выхода в свет «Переписки с друзьями»?

* * *

«Перестройка» и «ломка», происходившие в душе писателя в это трехлетие, отразились и на его творчестве; наряду с медленной работой над «Мертвыми душами» Гоголь производит полную переоценку своих сочинений, перерабатывает, переделывает, комментирует и защищает их.

В 1842 появляется в печати «Театральный разъезд после представления новой комедии». Это — сатира на нелепые толки, вызванные постановкой «Ревизора», а вместе с тем апология комедии как орудия общественного воспитания. В монологе автора пьесы, которым начинается эта сцена, мы сразу же узнаем голос «кающегося» Гоголя:

> «О, как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки…Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указания слабых и смешных собственных сторон».

И Гоголь в лирической тираде воспевает единственное честное и благородное лицо пьесы — смех. Он светел, ибо излетает из светлой природы человека, в глубине его таятся «горячие искры вечной могучей любви», и «кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете…»

Нет, Гоголь не клеветал на Россию, не издевался над ней: он смеялся *от любви к ней*, желая ее спасти. Как же представлялось автору «Ревизора» это спасение России силою смеха?

Здесь впервые Гоголь выражает в понятиях то смутное ощущение, которое лежит в основе всего его творчества, — идею «*мертвенности жизни*».

> «Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, *мертвых* обитателей, страшных недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыней сердца».

«Неужели Гоголь действительно верил, что представление веселой комедии может «преобразовать» Россию?» — спрашивают биографы Гоголя и удивляются его наивной самонадеянности. Конечно, надежда Гоголя была утопична, но нужно попытаться разделить его горячую веру в чудо и его страстную любовь к родине, чтобы понять его «наивность».

Мир полон «мертвых обитателей», жизнь которых проходит в «усыплении»; нужно встряхнуть их, разбудить, чтобы содрогнулись их пустынные сердца, чтобы залились они живительными слезами. И Гоголь верит, что такое «потрясение» способен произвести «светлый смех». Он поможет «взорваться и обнаружиться» внутренней болезни, разъедающей Россию. Воспрянув от греховного сна, она покается и спасется. Гражданственность писателя — чисто религиозная и христианская.

«Вы не хотите знать того, — восклицает Господин Б. в «Театральном разъезде», — что без глубокой сердечной исповеди, *без христианского сознания* грехов своих, без преувеличения их в собственных глазах наших, не в силах мы возвыситься над ними, не в силах взлететь душой превыше презренного в жизни».

Удивительна цельность и прямолинейность мировоззрения Гоголя: как сам он начинал свой духовный путь с публичного

покаяния и страстной жажды обличений и указаний грехов, так и для России желал он сознания грехов и исповеди.

Но оправдание «Ревизора», данное в «Театральном разъезде», не удовлетворило автора. Он не мог не чувствовать искусственности этого построения; комедия была написана как ряд веселых, почти фарсовых сцен; единственно, о чем заботился Гоголь, прося Пушкина дать ему сюжет, — это сочинить пьесу «куда смешнее черта». Никакой нравственной цели он не преследовал. Но совершенно неожиданно для автора комедия произвела на зрителей совсем другое впечатление.

«В итоге остается что-то эдакое… — пишет Гоголь в «Развязке Ревизора», — я вам даже объяснить не могу, что-то *чудовищно мрачное*…Самое это появление жандарма, который точно какой-то палач является в дверях…Все это как-то *необыкновенно страшно*».

Это загадочное превращение смешного в «мрачное», эта дьявольская подмена комедии чем-то «необыкновенно страшным» потрясли автора.

Отсюда усилие объяснить зрителям и себе самому «светлую» основу пьесы, попытка оправдать и защитить свое произведение.

Теория «светлого смеха» как добродетельного лица комедии слишком не соответствовала беспощадно саркастическому тону комедии, и вот через четыре года после «Театрального разъезда» автор снова возвращается к мучительному для его совести вопросу о пользе «Ревизора».

В «Развязке Ревизора» Гоголь вступает на путь аллегорического толкования; город, выведенный в пьесе, — наш душевный город, ревизор — совесть, чиновники — страсти, Хлестаков — «ветреная светская совесть». Комедия учит зрителей осмотреть душевный город с помощью настоящего ревизора и изъять из него «душевных лихоимцев». «Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники».

В этой аллегорической картине подчеркивается суровая, обличительная сторона смеха (смех скорее «бич», чем «свет»); автор верит, что Россия первая призвана к религиозному служению.

> «Дружно докажем всему свету, что в русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, кому все должно служить на земле, несется туда же, кверху, к Верховной вечной красоте».

* * *

Но ни «Ревизор», ни «Мертвые души» не пробудили России от мертвого сна. Автор мучительно ищет причины своей неудачи: разгадал ли он тайну жизни, правильно ли определил болезнь России? И что значит «мертвенность жизни»? Как понять этот парадокс: «жизнь есть смерть»? Гоголь не столько пишет «Мертвые души», сколько рефлектирует над ними. До нас дошли следы этих раздумий — заметки, относящиеся к переработке первой части поэмы.

> «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. *Смерть поражает нетрогающийся мир*. Еще сильнее между тем должна представиться читателю *мертвая бесчувственность жизни*.
>
> Проходит страшная мгла жизни и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление?..
>
> При бальном…при фраках, при сплетнях и визитных билетах никто не признает смерти…»

Эти удивительные слова дают нам ключ ко всей второй половине творчества Гоголя; первая половина заканчивается 35 годом, появлением «Миргорода» и «Арабесок». Она объединена лейтмотивом: вмешательство злых сил в жизнь человека. Вторая половина, с 35 года, может быть озаглавлена: «Мертвенная жизнь».

В этом основная интуиция автора «Мертвых душ»: Гоголь-человек воспринимает ее как страх смерти, как отвращение перед всюду проникающим «запахом могилы»; Гоголь-художник воплощает ее в виде царства мертвых душ; Гоголь-христианин ищет спасения из этого ада у подножия Распятия.

К сороковым годам относятся еще две заметки: «Размышления о некоторых героях первого тома «Мертвых душ» и «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Они дополняют предыдущий отрывок. Гоголь прослеживает процесс превращения живой души в мертвую: постепенно человека обхватывают «пошлые привычки света, условия, приличия», опутывают его, образуют твердую скорлупу вокруг его души. «А как попробуешь добраться до души, — продолжает Гоголь, — ее уже и нет; окременевший кусок и весь превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что-то похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека». Таким спрутом, обвивающимся вокруг человека и высасывающим из него его живую душу, могут быть пошлые привычки, пороки, страсти.

Во второй заметке разбираются герои «Ревизора» с точки зрения главной пожирающей их страсти. Такой «гвоздь, сидящий в голове и составляющий постоянный предмет мысли» у городничего — страсть к наживе; у судьи — страсть к псовой охоте, у Бобчинского и Добчинского — страсть переносить вести. Все так поглощены своими страстями, что живут во сне, в мире обманов и сами становятся, как Хлестаков, «олицетворенным обманом». Омертвение, окаменение жизни символически выражено в немой сцене, с ее неподвижностью и автоматизмом.

Тот же элемент автоматизма подчеркнут гротескно и иррационально в повести «Нос», сентиментально и филантропически — в «Шинели».

Д. Мережковский («Судьба Гоголя») удачно сравнивает Гоголя с героем андерсеновской сказки, которому в глаз попал осколок дьявольского зеркала.

Гоголь увидел мир sub specie mortis[2].

* * *

1845 год — трагический в жизни Гоголя: «вихорь недоразумений» с Плетневым и Смирновой из-за проекта помощи бедным студентам, мучительные объяснения с Погодиным, который оскорбил Гоголя самочинным помещением его портрета в «Москвитянине», и, самое главное, неуспешная работа над «Мертвыми душами» доводят писателя до тяжелого нервного заболевания. Симптомы его были ужасны. «Мне было так трудно, — пишет он Смирновой (1845 г.), — что уже было приуготовился совершенно откланяться, и теперь я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленее меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно, и при 18 град. тепла в комнате я не мог ничем согреться».

А в письме к Языкову:

> «Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели…»

«Мертвые души» не писались. Приходилось вымучивать каждую строку. Это была чудовищная пытка, кончавшаяся нервными припадками.

> «…Не в силах писать и трудиться, и малейшая натуга повергает меня в болезнь…»

Но Гоголь верит, что труд возложен на него Богом, и, естественно, приходит к мысли, что помехи чинит ему сам дьявол.

> «Признаюсь, уже не раз подкараулил я, что это были нервы, а из-за них, притаившись, работал и черт, который, как известно, ищет всяким путем просунуть к нам нос свой, и если в здоровом состоянии нельзя, так он его просунет дверью болезни».

Доктора не умели определить «странную» болезнь Гоголя; он лечился купаниями, холодными обтираниями, минеральными водами; больше всего ему помогала езда: на самых тряских дорогах, в самых неудобных экипажах он чувствовал себя спокойнее; он даже мечтал о том, чтобы стать курьером и всю жизнь скитаться по большим дорогам. Болезнь Гоголя таинственна; это — медленное оцепенение, остывание, замерзание; тело становится льдом, и душа чувствует себя «заживо погребенной». Сам Гоголь определяет это состояние как некое «обстояние бесовское», некую дьявольскую одержимость. Самое мучительное в этой болезни было ощущение надвигающейся неминуемой смерти. «Повторяю тебе еще раз, — пишет Гоголь Языкову (1845 г.), — что болезнь моя серьезна. Только чудо Божие может спасти. Силы исчерпаны». То же и в письме к Шереметевой:

> «Силы мои гаснут; от врачей и их искусства я не жду уже никакой помощи, ибо это *физически невозможно*».

Дьявол пытает его страхом смерти, полным отчаянием в выздоровлении и тоской, толкающей на самоубийство. Классическая последовательность искушений.

Вспоминая через год о пережитой болезни, Гоголь говорит, что «в то время повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».

И несмотря на страшное испытание, страдалец сохраняет светлость духа, покорность воле Божьей и смирение. Описывая Шереметевой свою болезнь, он прибавляет: «Впрочем я провел время (в Париже) хорошо, был почти каждый день в нашей церкви, которая хороша и доставила мне много утешения». Он настойчиво подчеркивает в своих письмах, что больна его плоть а не дух, что минуты уныния и отчаяния приходят все реже и реже и что Бог был милостив к нему в это время, как никогда дотоле. Он пишет Смирновой, что живет в Париже, как в монастыре, и что «был сподоблен Богом вкусить небесные и сладкие минуты».

Возвращаясь во Франкфурт, несмотря на три ночи и четыре дня, проведенные в дилижансе, он не чувствует себя изнуренным:

> «Временами было так на душе легко, как будто бы ангелы пели, меня сопровождая».

Но какие страшные муки приходилось преодолевать Гоголю! Вот потрясающая в своем лаконизме записка его к протоиерею И. И. Базарову (Франкфурт, 1845 г.).

> «Приезжайте ко мне причастить: я умираю».

В Великом посту Гоголь ездил в Штуттгард говеть в русской церкви; в июне, чувствуя себя снова умирающим, он причащался еще раз в Веймаре.

К июлю, по всем вероятиям, относится первое сожжение второй части «Мертвых душ». Трагическое это событие осталось для нас окруженным тайной: в переписке о нем глухие намеки.

Из испытаний 1845 года Гоголь вышел окрепшим и просветленным. Он чувствовал, что победил, огнем страданий «выжигал» свои грехи. От горделивого самоутверждения романтика-индивидуалиста осталось немного: Гоголь знает, как немощна его душа и как мало в ней любви. Не желанием смирения, а настоящим смирением полны теперь его слова:

> «Крестом сложивши руки и подняв глаза к Нему, будем ежеминутно говорить: «Да будет воля Твоя», и все примем, благословляя и самую тоску и скуку и тяжкую болезнь»
>
> *(Смирновой, 1845 г.).*

Гоголь идет дальше в смиренном познании самого себя:

> «Лучшее добро, какое ни добыл я, добыл из скорбных и трудных минут моих, и ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний».

Он понял, принял и благословил свой крест. И это делает его подлинно трагическим лицом.

«В несколько раз выше подвиг того, — пишет Гоголь, — кто не получая благодати, *не отстает от Бога* и выносит крест, тягчайший всех крестов — *крест черствости душевной*».

Припомним, что мы говорили о детстве Гоголя, о первичном для него чувстве космического ужаса и страха смерти. Не

сыновняя любовь приводит его к Богу, а страх перед возмездием. Религиозный путь его — каменистая пустыня, та «страшная сердечная пустыня», которую он чувствовал с ранних лет после таинственного зова среди бела дня, та «остылость и черствость», на которую он сетует во время кризиса 1833 года. И эта жалоба проходит унылой нотой через всю его жизнь: «вопль душевный» никогда не умолкает. После постановки «Ревизора» в 36 году он уезжает за границу «размыкать свою тоску», в 39 году, пережив последнюю вспышку любви, снова погружается в «мертвящую остылость чувства», во время приезда в Россию в 1841–1842 году пребывает в полном душевном оцепенении; в 1845 году сравнивает себя с человеком в летаргическом сне, которого готовятся живого зарыть в землю и, наконец, доходит до сознания: «крест черствости душевной».

Гоголь, страстно возлюбивший добро и принесший всего себя на служение ближним, был лишен простой непосредственной любви к людям. Он должен был «насильно» любить, «насильно» быть добрым. Две половинки его души, светлая и темная, были: любовь и безлюбость, религиозное горение и безблагодатность. Это трагическое противоречие можно проследить в отношениях Гоголя к друзьям: то самоотверженное служение, то холодное доктринерство; жутко читать некоторые письма его к Погодину, Аксакову, сестрам, но особенно поражают перебои заботливости и бессердечности в переписке с матерью.

В поте лица, «насильно» приходилось ему добывать себе простые человеческие чувства. «Черствость душевная» — в этом его метафизическая вина. Он не виноват в том, что Господь не дал ему «млека любви», и тем не менее несет за это ответственность. Не виноват, но ответствен. Здесь человеческая справедливость немеет перед правдой Божией. Гоголь принимает свои страдания как *заслуженные*.

* * *

После болезни у него, как всегда, наступил прилив радостной веры, творческой жажды и энергии. Вторая часть «Мертвых душ» была сожжена. «Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу…Я боялся сам рассматривать ее недостатки…зная, что, если рассмотрю построже мою книгу, может она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время».

Это свидетельство «Авторской исповеди» подтверждается письмом к Языкову (1846 г.):

> «Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждающимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям страждущим на разных поприщах. Страдания, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим». Так возникли «Выбранные места из переписки с друзьями». Они выросли из страданий автора и предназначались на помощь другим страждущим. В них видел он смысл ниспосланных ему испытаний; они были результатом всего его душевного воспитания. Наконец-то он управился со своим внутренним хозяйством, познал душу человека, очистился от своих пороков, возлюбил сильно родину и может говорить; теперь, наконец, он готов объяснить, хотя отчасти, «причину долгого своего молчания и своей внутренней жизни».

В торжественных выражениях просит он графиню А. М. Вьельгорскую (1846 г.):

> «Молитесь Богу, чтобы послал мне светлых минут, нужных для того, чтобы наконец сказать все то, для чего я воспитывался внутри, *для чего ниспосылались мне и самые тяжелые минуты, и самые болезни, за которые я беспрерывно должен молить Бога*»

(подчеркнуто Гоголем).

Итак, «Переписка» или экзамен на духовную зрелость, окончательная проверка, увенчание всего «душевного дела», или же полная катастрофа. Ради нее переносились испытания и недуги, ради нее избран был аскетический, страннический путь, ради нее сжигались «Мертвые души». Выпуская в свете «Переписку», Гоголь ставил на карту все свои страданиями заработанные духовные сокровища.

Он торопился, переписывая статьи до обморочного состояния, так как знал, что книга не только *нужна*, но нужна немедленно. В этом порукой была «необыкновенная милость Божия». «Все мне далось вдруг на то время, — пишет Гоголь Плетневу (1846 г.), — вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка. Это

просто чудо и милость Божия…» Чудом возникшая, провиденциальная книга. Первая книга, в которой он посмел заговорить о «*самом существенном*».

7
«Выбранные места из переписки с друзьями»

В свободной форме писем на самые разнообразные темы Гоголь создает стройную и полную систему религиозно-нравственного мировоззрения. Ее можно принимать или отвергать, но нельзя отрицать ее значительности. «Переписка» есть плод долголетней, напряженной нравственной рефлексии, большого духовного опыта. В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все четы, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может. Своим кликушеством, своим юродством, своим «священным безумием» он разбил гармонию классицизма, нарушил эстетическое равновесие, чудом достигнутое Пушкиным, все смешал, спутал, замутил; подхватил вихрем русскую литературу и помчал ее к неведомым далям. Непрочным оказался русский «космос»; хаос, скованный пушкинской плеядой, снова воцарился. После надрывного «душевного вопля» Гоголя в русской литературе стали уже невозможны «звуки сладкие и молитвы». От Гоголя все «ночное сознание» нашей словесности: нигилизм Толстого, бездны Достоевского, бунт Розанова. «День» ее, — пушкинский златотканый покров, — был сброшен; Гоголь первый «больной» нашей литературы, первый мученик ее. Можно жалеть о столь быстро промелькнувшем дне и содрогаться перед страшным ночным «карлой» — автором «Мертвых душ», но нельзя отрицать того, что великая русская литература вышла из-под плаща — из-под «Шинели» — этого «карлы». Без Гоголя, быть может, было бы равновесие, антология, благополучие: бесконечно длящийся Майков, а за ним бесплодие; после Гоголя — «полное неблагополучие», мировой размах и мировая слава.

Попытаемся резюмировать «систему» Гоголя. Этическая

гениальность автора «Переписки» заключается в небывалой силе и напряженности его *нравственного сознания*. Каждый человек обладает нравственной интуицией, различением добра и зла; у Гоголя она граничила с ясновидением, с пламенным вдохновением библейских пророков. У него было особое чутье, как бы особый орган восприятия зла в мире и в самом себе. Для него зло — не абстрактное понятие, а онтологическая сущность; он был подлинно и ортодоксально верующим человеком, а следовательно, *реалистом*. «Дьявол выступил уже без маски в мире» («Светлое Воскресение»). Эти слова нужно понимать в самом прямом смысле: если же не принять *мистического реализма* Гоголя, то уж дальше идти за ним нельзя. Тут основа всего его мировоззрения. Дьявол наводит сон на людей, околдовывает их скукой, пошлостью, тоской.

> «И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире».

Для того чтобы показать, как «пусто и страшно», и были написаны «Мертвые души».

Еще мучительнее для Гоголя сознание зла в самом себе. Публичная исповедь, принесенная им на страницах «Переписки» (третье письмо по поводу «Мертвых душ»), не имеет себе подобного в русской литературе. Никто до Гоголя не говорил таким тоном, таким языком. В словах этих слышится дрожь отвращения и упоение позором:

> «Во мне заключилось собрание всех возможных *гадостей*, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке…Если бы…они открылись вдруг и разом перед моими глазами…я бы повесился…С тех пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных *гадостей*, моею собственной *дрянью*…Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего…он бы точно содрогнулся».

Какое обнажение, какая нарочитая грубость и какое отчаяние!

Но различением добра и зла нравственное сознание не ограничивается. Гоголь переживает в самой напряженной форме чувство своей ответственности за зло. Мы знаем, что с детства его

преследовали страшные видения суда и возмездия; он прожил жизнь под террором загробного воздания. За каждое слово и дело ответит человек после смерти; но особенно велика ответственность писателя, ибо «слово есть высший подарок Бога человеку». После выхода в свет «Мертвых душ» Гоголь ожидал, что они потрясут Россию, разбудят ее от мертвого сна. Но никто не заговорил. Точно Россия была населена в самом деле мертвыми душами. За этот грех ответят и писатель и читатели. «Знаю, — пишет Гоголь, — что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие».

Переживая столь патетически грех и наказание, Гоголь истязал себя страхом, доводя до припадков и нервных заболеваний. В одном письме к Смирновой 1846 года перед нами немного приподнимается завеса над застенком, в котором пытал себя Гоголь. «Эти болезненные страхи, — пишет он, — эти непонятные беспокойства, эти беспрестанные ожидания чего-то страшного, долженствующего сей же час разразиться, все это уже у меня было».

Религиозное сознание писателя апокалиптично: горит земля, свиваются небеса, встают из гробов мертвецы, растут страшилища из семян наших грехов. Вот запись одного из «кошмаров, которые давили его душу»:

> «Соотечественники, страшно…Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых…Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от нас подымутся…»

Когда нравственное сознание доходит до апокалиптической раскаленности, когда экстазы сменяются кошмарами и «стонет весь состав», душа человека или гибнет, или перерождается. Страх возмездия может парализовать ее, толкнуть в пропасть безумия или же, напротив, удесятерит силы. Гоголь из своего «ада» вышел закаленным бойцом. Романтик-мечтатель превратился в практического деятеля. В нем окрепла нравственная воля и воинственный дух.

Открыв в себе «собрание всех возможных гадостей», Гоголь преодолел уныние; в душе его загорелась жажда добра; первое из качеств, данных ему Богом, было «желание быть лучшим». Вот как звучит его бранный клич:

> «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. *Я воюю с ними и буду воевать* и изгоню их, и мне в этом поможет Бог».

Сначала «мерзости» его смущали: «я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию», но потом, всмотревшись в мерзости, он просветлел духом: «Передо мною стали обнаруживаться исход, средства и пути». Он возлюбил темную Россию, понял, что Божья сила именно в ее немощности и греховности. «Уверяю Вас, — пророчествует Гоголь, — что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно от того, что считали себя слишком чистыми». И здесь он впервые дает словесное выражение одной из основных идей русской литературы, развитых впоследствии Толстым и Достоевским. Нет на свете правых и виноватых: все виноваты перед Господом. «Правосудие у нас, — пишет Гоголь, — могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог». Этой идее о «правде» русского народа, противостоящей «праву» других государств, суждена была блестящая будущность.

Вооруженный верой в конечное торжество добра, Гоголь идет в бой:

> «Мы вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей; как добрый воин, должен бросаться из нас всякий туда, где пожарче битва. Всех нас озаряет свыше небесный Полководец…»

Воинственные, рыцарские образы соответствуют средневековому мировоззрению Гоголя. Как странно должны были прогреметь эти фанфары среди мирных садов российской словесности. Программа борьбы должна быть самая простая, практическая, утилитарная. Писатель призван служить своему отечеству, приносить реальную и непосредственную пользу людям, быть добрым гражданином и усердным работником. Искусство, литература, эстетика — не автономны; существование их оправдывается только пользой, которую они приносят человечеству. Вот знаменательные слова Гоголя:

> «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать

всякий человек, не только один я. *Дело мое — душа и прочное дело жизни*».

Чтобы подчеркнуть практический, земной характер своего учения, автор склонен даже отрицать свою мистическую одаренность; он пришел ко Христу путем самого делового, прозаического «расчета», путем исследования и изучения. Его не занимают идеология и метафизика; он говорит о деле, о жизни, о земле. Мы читаем в предисловии к «Переписке с друзьями»:

> «Сердце мое говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна…Никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным».

Вся русская литература последовала за Гоголем: от него ее браннолюбивый, практический и гражданственный характер. От Гоголя — Некрасов, Тургенев, Щедрин, Толстой, Достоевский, народники, революционеры, реформаторы нашей литературы. Гоголь не хочет индивидуального спасения души; тоскуя по созерцательной монашеской жизни, он ни на минуту не соблазняется мыслью о бегстве из мира. Спасаться можно только всем миром, со всеми братьями. Вдохновенно призывает он к служению России.

> «Нет выше звания, как монашеское…Но без зова Божия этого не сделать…*Монастырь ваш Россия*. Облеките же себя умственно рясой чернеца и всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней…Друг мой, или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия».

Аскетизм Гоголя — не для личного спасения, а для служения. Христианин аскетически отвергает себя для подвига гражданского. Любовь не абстрактная — к человечеству, а живая — к ближним. В предчувствии близкой смерти Гоголь пишет в «Завещании»:

> «Соотечественники, я вас любил, любил той любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние».

Отметим после военно-рыцарских образов образы монашеские. Битва и монастырь, воин и монах — характерные атрибуты средневекового миросозерцания.

Религия Гоголя — соборная. Люди — братья, живущие друг

для друга, связанные общей виной перед Господом, круговой порукой и ответственностью. Всякий индивидуализм и эгоистическая обособленность от дьявола. В духовной области нет частной собственности: все Божие, все дары посылаются для всех.

> «Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже не имеет права скрывать ее в себе от других: она не твоя, а Божие достояние. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божии даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим».

В этой гоголевской идее соборности и «службы» раскрывается глубочайшая истина восточного православия.

* * *

Наметив в этих чертах программу «дела жизни», Гоголь должен был определить свой путь. Он был ему подсказан его христианским сознанием; путь этот — поучение и нравственное влияние. «Бог повелел, — утверждает Гоголь, — чтобы мы ежеминутно учили друг друга». Известно, до каких наивных крайностей доходило его учение о моральном воздействии губернатора и губернаторши на общество, помещика на крестьян и бюрократа на чиновников. Других способов, кроме проповеди и личного примера, Гоголь не допускал. Любопытно сравнить его с Белинским, стоявшим на той же почве общественного реформаторства. Белинский признает только внешние, государственные методы преобразования общества: уничтожение крепостного права, отмену телесного наказания, изменение государственного строя; у Гоголя все методы внутренние, психологические: перевоспитание души человека. Для материалиста Белинского — бытие определяет сознание, для спиритуалиста Гоголя — сознание определяет бытие. Линия Белинского привела через интеллигенцию, народников и марксистов к современному коммунизму. Линия Гоголя возрождается в пореволюционном религиозном сознании. Психологический путь Гоголя обусловлен спиритуализмом всего его мировоззрения. Душа в центре мира; все от нее исходит и к ней возвращается. В ней ключ ко всему.

> «Воспитываются для света не посреди света, а вдали от него…в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему, — найди только прежде ключ

к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех».

Вот почему Гоголю понадобились долгие годы подготовки, удаления в душевную пустыню для изучения и очищения собственной души. И только наладив свое внутреннее хозяйство, он решил выступить на поприще общественно-религиозного служения. Поле борьбы добра со злом — человеческая душа; ее можно исправлять поучением, на нее можно влиять примером. Вера Гоголя в плодотворность нравственного воздействия связана с его взглядом на душевное зло. Мы уже знаем, что злую силу в мире Гоголь мыслит онтологически, как вполне реальную личность дьявола. Напротив, в человеческой душе онтологического зла он не видит. Пессимист в плане космическом, Гоголь неожиданно превращается в оптимиста в плане психологическом. В душе человека зло не имеет сущности; оно случайно, эмпирично, а потому вполне преодолимо. Работа проповедника сводится не к уничтожению зла, а к исправлению испорченного, искаженного добра в душе грешника. «Друг мой, — пишет Гоголь, — мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все исправлять к добру, — даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога».

Но как же примирить с этим заявлением художественное творчество самого автора? Как оправдать чиновников из «Ревизора», помещиков из «Мертвых душ»? Неужели и это царство пошлости и смерти в глубине своей таит добро? Гоголь вынужден решиться на подобную, крайне произвольную, переоценку. Он не хочет признать, что до религиозного перелома он был живописателем зла, а вовсе не скрытым проповедником добра. Ему нужно связать две половинки своей личности и деятельности, и он вступает на скользкий путь мотивировки post factum.

Как бы ни был низок и порочен человек, природа его благородна: он извратил ее, редко по злой воле, а большей частью по познанию. Вот любопытное утверждение в «Переписке»:

> «Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя…и тогда вы почувствуете, как *благородна* наша русская порода даже в плутах». Как же происходит это *извращение* добра в душе человека?

> Главная причина заключается в болезни нашего времени, во всеобщем *недовольстве*. Каждый хочет быть не тем, что он есть; отсюда путаница, вихрь недоразумений, раздоры и всевозможные пороки. Диагноз неожиданный и своеобразный. Еще более неожиданно следующее утверждение: наша жажда быть не тем, что мы есть, «может быть, происходит от прекрасного источника — быть лучше».

Когда от суждений нормативных Гоголь переходит к диагностике, почва уходит из-под его ног. Определение русской болезни как жажды быть не тем, что есть, заявление, что все пороки проистекают из желания быть лучше, — причудливое доктринерство. Так же фантастично рассуждение о том, что в настоящее время все до единого грешат не прямо, а косвенно; что грехи эти «не от разврата, а от неведения»: стоит только проповеднику показать «всю цепь косвенных преступлений», как грешник «облобызает его как спасителя». Все несчастье в том, что человек не знает ни самого себя, ни жизни. «Велико незнание России посреди России». Таким образом, моральная проповедь превращается в лекции по самообразованию и нравственность заменяется познанием. Трогательно и смешно изображение «честного, но близорукого богача», у которого «дыбом поднимается волос», если только ему показать картину голода в России; или модницы, которой «не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье», стоит лишь объяснить ей, что из-за ее нарядов муж ее берет взятки. Так постепенно все пороки и грехи русского человека сводятся к «прекрасным источникам». Как от гениальных прозрений в области нравственности Гоголь мог спуститься до такого наивного утопизма в психологии? Ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным: *Гоголь совсем не психолог*; у него был великий художественный талант и большая нравственная одаренность. Он художник слова, юморист, лирик, мастер гротеска и фантастики, но все его творчество не в психологическом плане; он не создал ни одной живой души, ни одного реального характера. Маски и автоматы, сделанные им, так выразительны, так динамичны, что издали их можно принять за настоящих людей; но попробуйте проанализировать Сквозника-Дмухановского или Чичикова, и вы сразу почувствуете, что вместо души у них мешок с отрубями. Гоголь с детства ощущал мировое зло как начало омертвения и смерти. Пока он оставался верен своей интуиции, он гениально выдумывал мертвые души, так гениально, что даже Пушкин поверил в их реальность. Гоголь рассказывает, что после чтения поэмы Пушкин произнес: «Боже,

как грустна Россия». И прибавляет знаменательную фразу: «Меня это изумило: Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и *моя собственная выдумка*».

Когда же, вопреки интуиции, Гоголь пожелал все «мерзости» свести к «прекрасному источнику» и путем нравственного воспитания переделать мертвые души в живые, он потерпел поражение. Психологическая теория зла как искажения добра, изложенная в «Переписке», оказалась холодной утопией.

* * *

Психология Гоголя тесно связана с его социологией. Идеальный социальный уклад представлялся ему в форме патриархального крепостного права и натурального помещичьего хозяйства. Он искренне был уверен, что появление «Одиссеи» в переводе Жуковского «произведет эпоху» не только в литературе, но и в общественности; что поэма поразит «величавою патриархальностью древнего быта, простотою и несложностью общественных пружин». Влияние Гомера должно быть особенно сильно в России, ибо русская природа сохранила большое сродство с древней патриархальностью. Этим уже определяется социальная программа Гоголя: консерватизм и легитимизм, не движение вперед, а возвращение вспять, не реформы, а более строгое исполнение «обычаев старины и обрядов». Все зло от беспокойного духа.

> «Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого и только не может его сделать в своей должности. Это причина всех зол…Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит».

Итак, преобразование общества начинается с приказа: всем оставаться на своих местах. Не рвать ни одной традиции, не изменять ни одного учреждения. Ибо все институты, законы, должности и установления совершенны.

> «Чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что сам Бог строил незримо руками государей».

Социальное зло не в законах и учреждениях, а в извращении их грешными людьми; посему каждую должность и каждое

сословие надлежит ввести в законные границы, а «всякого чиновника губернии в полное познание его должности». Если, например, объяснить дворянству, что Россия несчастна потому, что «низкие разночинцы» опозорили разные неприманчивые места и должности, то оно «встрепенется» и «отбою не будет от желающих вступить в службу».

Преобразовать Россию можно не нововведениями, а генерал-губернаторами.

> «В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто — ничем другим, как только собственной жизнью своей».

Когда должности и сословия войдут в законные границы, Россия вернется к своему исконному патриархальному строю. Основа его — иерархия, основанная на любви. Губернатор — отец истинный всем своим подчиненным; все чиновники его дети; союз любви связывает самые высокие общественные ступени с самыми низшими. Губернатор объясняет дворянам их долг по отношению к крестьянам, «чтобы те позаботились о них (крестьянах) истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих». В письме «Русский помещик» Гоголь излагает своеобразную экономику: помещик — хозяин, отец своих крестьян, должен строить свое хозяйство на Св. Писании, растолковывая мужикам, что Сам Бог повелел им трудиться, примерных мужиков хвалить, а «негодяев» распекать: «Ах ты, невымытое рыло!» В этом же письме есть христианское обоснование богатства: «В которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро»; и защита невежества: «Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги». Одним словом, идеал христианина — богатый хозяин, вроде Констанжогло или Муразова из второй части «Мертвых душ»! Натуральное хозяйство, основанное на принудительном крестьянском труде, возглавляется главным хозяином — царем, который должен отчитываться перед Небесным Хозяином. И государство и общество Гоголь мыслил только в плане хозяйственном. Его построение можно назвать *экономическим утопизмом*.

* * *

Схему гоголевского социального строя можно представить себе в виде иерархической лестницы, на которой расположены

должности и сословия: стоящие на одной ступени — отцы по отношению к низшей и дети по отношению к высшей. Снизу вверх из рук в руки передается пламя любви, достигающее наконец престола. На нем сидит Монарх, возносящий любовь детей своих к Богу.

«Как это верно, — восклицает Гоголь, — что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. *Она должна быть передаваема по начальству*, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому Богу».

Мы уже неоднократно отмечали в мировоззрении Гоголя черты средневековья. Начертание этой лестницы вполне в духе феодального строя. Гоголь напрасно выставляет идеалом «Одиссею»; в античности он видел только простоту нравов и патриархальность, т. е. те черты, которые соответствовали его средневековому сознанию. Социальная пирамида острием своим упирается в небо; Царь — посредник между небом и землей. «Власть Государя, — пишет Гоголь, — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божьим на земле…Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви, которой один только может быть доступен разболевшемуся человечеству». Со всех ступеней общественной лестницы волны любви устремляются в одну точку — к трону; и навстречу им стремится столь же сильный поток монаршей любви. В этой встрече двух любовных токов, в концентрации и объединении всего народа в любви и заключается смысл монархии.

Как не похож этот апофеоз власти у Гоголя на монархизм «Москвитянина», на программу Шевырева и на уваровскую формулу! Это — не «реальная политика», а чистая романтическая утопия, вроде произведения Новалиса «Вера и любовь, как король и королева». Гоголь видел перед собой не мрачную николаевскую Россию, а мистическое царство, некий святой град Китеж; царь представлялся ему не в образе могущественного и грозного властелина, а в образе *страдальца и молитвенника*. Он воплощение небесной любви, образ страдающего Христа; гоголевский монарх, день и ночь «скорбящий, рыдающий и молящийся», более похож на средневекового короля Людовика

Святого, чем на русского самодержца Николая Первого.

* * *

Религиозная концепция власти приводит Гоголя к основной и завершающей идее его книги: к построению единой христианской культуры, к религиозному обоснованию государства и хозяйства, к полному оцерковлению мира. И если при построении христианского царства Гоголю мешало его полное незнание русской действительности, то здесь в учении о церкви этого препятствия для него не было: он знал церковь, глубоко чувствовал и понимал дух православия. Эта часть «Переписки» самая значительная. Никогда еще в русской литературе не раздавался голос такой сыновней любви, скорби и благоговения к православной Церкви. В призыве к церковной жизни Гоголь подавал руку Хомякову, Ивану Киреевскому и другим славянофилам и ставил перед русской литературой проблему *религиозного оправдания культуры*.

«Мы вообще знаем плохо нашу церковь, — пишет Гоголь. — Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы его почувствовать, но не знаем даже, где положили его. Церковь…одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, — и эта Церковь нами незнаема. *И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь*…Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь».

Гоголь мечтает о руководящей, объединяющей, просвещающей роли Церкви; европейской цивилизации, основанной на естественных науках и технике, он противопоставляет подлинное, духовное просвещение.

«Просветить, — пишет Гоголь, — не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви…Архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвешник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов просвещает всех».

Автор сознает, что его книгу не поймут и осудят, что не признают ни его учительского, ни его пророческого служения. И он оправдывает свое дерзновение, как оправдывали его во все

времена все пророки — призванием свыше.

«Мне ставят в вину, — говорит Гоголь, — что я заговорил о Боге…Что же делать, если говорится о Боге? Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, *когда камни готовы завопить о Боге*».

* * *

В заключение рассмотрим взгляд Гоголя на судьбы России. Под влиянием и в полном согласии со славянофилами Гоголь считает Россию страной, особо избранной Промыслом Божьим. В русской лирике есть «что-то близкое к библейскому» и какое-то «пророчество о России».

> «Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всем что ни сбывается в ней и *чует приближение иного царствия*: оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов».

Россия ближе других стран подошла ко Христу; в народной душе бессознательно живет правда Христова. Русское государство — христианское, более того, «небесное государство», почти что царство Божие. «Служить теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос». В такой характерной для Гоголя гиперболической форме выражена русская мессианская идея.

В заключительном письме «Переписки с друзьями», названном «Светлое Воскресение» (несомненно, самом замечательном из писем), Гоголь спрашивает, почему только в одной России так радостно и торжественно празднуется Светлое Воскресение? Почему мы верим, что свет грядущей Пасхи загорится сначала в России и из нее разольется по всему миру? Мы не лучше других народов и не ближе жизнью ко Христу, чем они. Но мы верим, что в славянской природе есть «начало братства Христова», есть отвага покаяния и любви, есть неустройство наше, дающее нам гибкость «расплавленного металла», есть единение всех сословий.

> «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится

благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов».

* * *

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь явился провозвестником идеи *о цельности духовной культуры*[3], о ее религиозном обосновании, об устроении человеческого общества на основах церковной соборности, о преображении мира путем внутреннего просветления человека, о иерархическом строении государства и мистическом смысле верховной власти. Он хотел свернуть ход русской истории с путей материализма на путь к новому средневековью[4]. В области литературы книга Гоголя знаменовала собой поворот от искусства к религии[5]. М. О. Гершензон называет ее самой общественной книгой в русской литературе[6].

Гоголь был прав, считая свою книгу «пробным камнем»: она явилась той крупицей соли, от которой в насыщенном растворе начинается кристаллизация; она проявила и обострила процесс раздвоения, который происходил втайне в глубине русского сознания. В середине сороковых годов интеллигенция медленно отходила от религии: западники в лице Белинского, Герцена, Бакунина неудержимо стремились в сторону левого гегельянства, которое упиралось в атеизм и материализм. «Переписка» Гоголя обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе (славянофилы и западники), не столько распри политические (консерваторы и либералы), сколько проблема о религиозном призвании России. Гоголь утверждал, что смысл национального бытия России — религиозный; что она страна мессианская, призванная распространить по всему миру Свет Христова Просвещения. На тезу Гоголя от лица русской интеллигенции ответил Белинский; в своем знаменитом Зальцбруннском письме он выставил обратную тезу. «Россия, — пишет Белинский, — видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства…

…По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь…Приглядитесь попристальнее и вы увидите, *что это по*

натуре глубоко атеистический народ».

Теза Гоголя — русский народ самый религиозный в мире — столкнулась с антитезой Белинского — русский народ глубоко атеистический. Спор был вынесен на суд всего общества: все читали «Переписку с друзьями», а письмо Белинского распространилось в рукописном виде по всей России и не было ни одного уездного фельдшера, ни одного городского учителя, которые не знали бы его наизусть. Этот «манифест русской революции» имел трагическое влияние на судьбу России: в нем благородный и справедливый пафос свободы и человечности был незаконно соединен с борьбою против церкви и религии. С этих пор в сознании интеллигента-революционера понятие самодержавия связалось с понятием православия.

Тяжба между Гоголем и Белинским была решена в пользу последнего. Призыв Гоголя оказался гласом в пустыне. Его услышала только горстка славянофилов; за Белинским пошло громадное большинство. Россия вступала в эпоху 50—60-х годов, эпоху ликвидации идеализма, отречения от духа и погружения в материю; начиналось снижение идейного уровня, сумерки культуры. Но на голос Гоголя откликнулся Достоевский.

8
Религиозный кризис (1847–1848)

Весь январь месяц 1847 года Гоголь провел в хлопотах по изданию «Переписки с друзьями». Цензура не пропустила несколько писем, которые автору казались самыми значительными. Он просит Плетнева хлопотать перед цензором и, в случае неудачи, представить непропущенные письма на просмотр Государя, составляет «проэкт всеподданнейшего письма» императору, обращается к протекции графа Вьельгорского, жалуется Смирновой, волнуется, отчаивается и, наконец, от тревоги заболевает. Известие о смерти Языкова лишает его последних сил. Но несмотря на все невзгоды и недуги, внутренне Гоголь торжествует. Никогда он еще не испытывал такого самоудовлетворения, такой радости исполненного долга, такой веры в свое призвание. Высокомерно и сурово наставляя мать и сестру в истинно христианской жизни (письмо от 25 января), он дает им понять свою непогрешимость и продолжает в тоне, в каком никогда еще не писал, даже родным: «Я именно затем и еду в Иерусалим, чтобы иметь право возвратиться в Россию и начать, наконец, мою службу истинную отечеству, к которой так долго приготовляюсь или лучше, к которой готовит меня Сам Бог».

Со скромностью великого человека Гоголь отвечает Плетневу:

> «Зачем ты называешь великим делом появление моей книги? Это и неумеренно и несправедливо. Появление моей книги было бы делом не великим, но точно полезным…»

Ни к одному своему произведению Гоголь не относился с такой ревнивой любовью, как к «Переписке». Она была дитятей его сердца. Болезненно переживает он цензурные урезки. «С меня сдирают не только рубашку, но и самую кожу, — пишет он Плетневу. — Точно как бы перед глазами зарезали мое любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство». Он умоляет друзей собирать отзывы, толки и пересуды об его книге и даже откладывает отъезд в Святую Землю, желая дождаться «прекрасной жатвы».

Наконец «Переписка» стала известна в России. «Мне прочли как-то два раза его книгу, — пишет С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях. — Я пришел в восторженное состояние от

негодования и продиктовал Гоголю небольшое, но жестокое письмо».

К этому письму он приложил письма Свербеева и его жены. Вот что в них прочел Гоголь. Свербеев нашел в «Переписке»: уничижение паче гордости, гордость смирения и *надувательство*, а один его приятель «во всеуслышание объявил, что автор писем отныне должен называться не Николаем, а Тартюфом Васильевичем».

Свербеева нашла в «Переписке» «странную гордыню» и только «обманчивый отблеск христианского смирения».

Аксаков называл гордость Гоголя дьявольской и писал: «Книга Ваша вредна, она распространяет ложь Ваших умствований и заблуждений».

Заметим, что так писали московские друзья, славянофилы, люди одних убеждений с Гоголем. Что же скажут враги?

Эти письма произвели на Гоголя страшное впечатление: удар был столь неожиданный и жестокий, что Гоголь растерялся. От упоения собственным величием он с невероятной быстротой переходит к полному самоуничижению. Правда, в течение нескольких месяцев он страдал бессонницей, и душевные силы его были истощены, но все же внезапность этого переворота поразительна. «Появление книги моей, — пишет Гоголь Жуковскому 6 марта, — разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому…Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее…Как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа… Право, есть во мне что-то хлестаковское». То же, в еще более резкой форме, повторяется в письме к отцу Матвею (9 мая): «Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная оплеуха».

Мучительно читать эти униженные, постыдные самообвинения, это навязчивое повторение слова «оплеуха». Есть что-то патологическое в гоголевском исступленном самобичевании. Он кается в своей «незрелости», «резкости», «дикости и заносчивости», «в самоуверенности», «самоослеплении», «невоспитании»; он болеет «незнанием многих вещей в России», он возомнил о себе, что может поучать других, а на самом деле все еще ученик и т. д. Но, охотно и даже с неким наслаждением обвиняя себя, Гоголь упорно защищает свое детище. Перечислив недостатки «Переписки», он прибавляет: «Право, труд мой больше *полезный и существенный*, чем думают многие». По его мнению, книга была полезна прежде всего

самому автору; благодаря ей он узнал, как он еще далек от совершенства; не было бы ее, не посыпалось бы на него все это множество спасительных для него упреков; без появления «Переписки» не устремилось бы за его душу столько чистых молитв.

> «Поверь, что без этой книги не было бы на чем испробовать нынешнего человека. А проба эта нужна, и в этом отношении книга моя, несмотря на все ее недостатки — сокровище»
>
> *(Плетневу, 17 апреля).*

Между тем удары сыпались за ударами: русское духовенство, в лице архиепископа Иннокентия, о. Брянчанинова и о. Матвея Константиновского, сурово осудило переписку. Даже после жестокого письма о. Матвея Гоголь все еще не сдается. «Не могу скрыть от Вас, — отвечает он отцу Матвею, — что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом; но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала…Цель моей книги была добрая». Как могло случиться, что представители церкви ополчились против книги, в которой заключалась вдохновенная защита православия? Почему славянофилы пришли в «восторг от негодования»? Гоголь прав, жалуясь С. Т. Аксакову на «вихрь недоразумений». «Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу понять».

После осуждения со стороны духовных особ посыпались беспощадные отзывы в печати Павлова, Галахова, Белинского. Статья последнего в «Современнике» вызвала письмо Гоголя к ее автору, в ответ на которое Белинский написал свое известное письмо от 3 июля из Зальцбрунна. По его мнению, Гоголь — апостол кнута и невежества и не христианин. «Кто способен страдать при виде чужого страдания, — писал Белинский, — кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги».

До нас дошли черновики ответа Гоголя Белинскому: они бессвязны и беспомощны. Гоголь не мог более защищать свою книгу; он был окончательно разбит. Только через месяц посылает он Белинскому короткое письмо, в котором признает свое поражение.

> «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, нежели я получил письмо Ваше. Бог весть, может быть в словах ваших есть часть правды».

……..

Больной, измученный и душевно неуравновешенный, автор «Переписки» из одной крайности переходит к другой. Он решительно отрекается от своего учительского призвания. «Упреки же, равно как и советы мои, — пишет он матери 7 июля, — я прекратил потому, что увидел свое собственное безобразие и почувствовал, что мне необходимей делать самому себе упреки и давать себе самому советы». То же отречение от нравственного служения выражено в письме к Жуковскому (декабрь 1847 г.).

> «В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни».

Это отступничество стоило Гоголю страшных страданий. Некоторые его письма — один сплошной стон.

> «Ради самого Христа, прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия…из милосердия прошу вас войти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь…»
>
> *(Аксакову 10 шюля).*

И в «Авторской исповеди»:

> «Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением».

* * *

В мае 1847 года Гоголь пишет «Авторскую исповедь», в которой старается объяснить, почему он оставил искусство ради проповеди, и рассказывает «повесть своего писательства».

Приписывая неуспех «Переписки» своему незнанию современного русского человека, он спрашивает себя: «Должен ли я в самом деле писать?» — и отвечает отрицательно. «Мне, верно, потяжелее, чем кому-либо другому отказаться от писательства, когда это составляет единственный предмет всех моих помышлений…Но, повторяю вновь, как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему».

Это самый трагический момент в жизни Гоголя: все воздвигнутое им здание учительства, государственного служения, общественной пользы рушится сразу; возвращение к художественному творчеству невозможно; «как честный человек», он должен отказаться от всякого писательства.

Что же у него остается после двойного отречения? Пройденный им тяжкий духовный путь? Купленный столькими страданиями мистический опыт? А что если и они — заблуждение? В середине сороковых годов Гоголь переживает последний и жесточайший кризис — *кризис религиозный*. Он начинает сомневаться в самом интимном и святом — в своей близости ко Христу, в своей любви к Богу. А что, если прав Аксаков, толкующий о его союзе с дьяволом, и он действительно пребывает в греховном ослеплении и «прелести»? Гоголь вступает в последний круг своего ада — в пустыню *богооставленности*. Раньше он говорил о Боге, потому что ему «невольно говорилось», потому что это было ему дано свыше; теперь он полон опасений, недоверчивости, сомнений, как внезапно ослепший боязливо шарит вокруг себя. В письме к Иннокентию, архиепископу Херсонскому, Гоголь пишет: «Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божьей. Говорить о мелком и ничтожном в жизни не хочется; говорить же о высоком, — но тут на всяком шагу встретишься со Христом и можешь наговорить нелепостей». Так легко отрекается он от себя, так покорно и смиренно повторяет то, что внушили ему его враги.

До чего дойдет он в своем самоуничижении, где остановится его самоубийственное изуверство? В письме к Шереметевой Гоголь пишет, что он «еще ученик во всем», что это открытие его смирило; и прибавляет, в виде намека: «и с тем вместе *как бы охладило меня* и в том, в чем бы я никогда не хотел охлаждаться».

Отъезд в Святую Землю откладывался с месяца на месяц; придумывались разные предлоги, а между тем причина была вполне ясна: у Гоголя пропала охота ехать в Иерусалим.

«Не ехать в Иерусалим, — пишет Гоголь Погодину, — как-то стало даже совестно. Если нет внутреннего желания так сильного, как прежде, то все-таки следует хоть поблагодарить за все

случившееся…»

О тех же сомнениях говорит он и Шевыреву (письмо из Неаполя 2 декабря 1847 г.):

> «Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчет самого себя…Я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога…Теперь думаю: не будет ли *оскорблением святыни* мой приезд и поклонение мое? Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильнее, и все бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на трудности пути. Но в груди моей равнодушно и черство…»

Обратим внимание на преувеличенность самоуничижения; Гоголь не знает середины: или он избранник Божий, святой, или такой грешник, одно поклонение которого оскверняет святыню. Тут и юродство, и гордыня наизнанку, и самоистязание.

Мысль эта развивается: Гоголь начинает думать, что он особенный, необыкновенный грешник, что и в грехе он не такой, как все люди. Вот что он пишет отцу Матвею (9 мая 1847 г.):

> «Вы видите сами, что обо мне нужно молиться более, чем о всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит своим разумом, что я буду тогда? Участь моя будет страшнее участи всех прочих людей».

Странная смесь смирения и высокомерия: как будто Гоголь гордится глубиной своего падения. И в спасении и в гибели он единственный и первый: или *самый* святой, или *самый* грешный.

В письме к Шереметевой был намек на «охлаждение». Это значило, что Гоголь был готов расстаться и с последним, что у него оставалось, — с верой.

* * *

Письмо к отцу Матвею от 12 января 1848 года — один из замечательнейших человеческих документов. Принеся священнику Константиновскому кроткую «исповедь своего писательства», Гоголь заканчивает: «стану наблюдать за собой, буду молиться». И слово «молиться» приводит его к страшным признаниям.

> «Но, увы, молиться не легко. Как молиться, если Бог не захочет?..И вот вам моя исповедь уже не в писательстве. Исписал бы вам страницы во свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. *Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе*. Признаю Христа Богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себя…*Вот все, но веры у меня нет*. Хочу верить, и, несмотря на все это, я не дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу».

* * *

Последний месяц в Неаполе перед отплытием в Палестину Гоголь провел в состоянии мистического ужаса. Мысль, что он, последний из грешников, «дерзает» ехать в Святую Землю, наполняла его душу трепетом. После «поражения» он стал другим человеком. Действительно, «сердце его было разбито и деятельность его отнялась» (слова Гоголя в письме к С. Т. Аксакову от 10 июня 1847 г.). За несколько дней до отъезда он пишет матери паническое письмо:

> «Молитесь, и больше ничего…Нам остается только молиться и просить у Бога, чтобы он научил нас, как молиться Ему о спасении нашем. Прошу вас отправить молебен, и, если можно, даже не один (во всех местах, где умеют лучше молиться), о благополучном моем путешествии. Чувствую, что нет сил молиться самому…Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моления и помогите воскрылиться к Богу моей молитве».

При этом письме на особом листке приложена была молитва, которую он просил читать на молебне.

Затем он посылает сто рублей серебром отцу Матвею — половину для раздачи бедным, с тем чтобы они молились за него, другую же половину на три молебна — и одновременно поручает благочестивой старушке Шереметевой отслужить молебен о благополучном его путешествии.

В конце января 1848 года Гоголь отбывает в Святую Землю. Только через два года после своего путешествия он исполняет просьбу Жуковского и делится с ним своими впечатлениями о Палестине. Он был разочарован: та земля, которая во времена

Спасителя была цветущим садом, теперь пустыня; Иерусалим и Вифлеем похожи на беспорядочно сложенные груды камней; тощий Иордан осенен кустиками ив. Святую Землю Гоголь видел как во сне: на рассвете он выступал в путь по пустыне, чтобы на закате прибыть в какой-нибудь городок, Тир или Сидон. Он запомнил Елеонскую гору, Мертвое море. Вот и все.

«Мое путешествие в Палестину, — пишет он, — точно было совершено мною затем, чтобы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца». И дальше Гоголь прибавляет несколько строк, пронзительных в их трагической простоте:

> «Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции».

Надежда писателя на то, что душа его, убитая соотечественниками, воскреснет у гроба Господня, не оправдалась. Он бесчувствен, молитвы его бескрылы, он как во сне.

> «Молился кое-как о себе…А вы по-прежнему не переставайте молиться обо мне. Напоминаю вам об этом потому, что теперь, более чем когда-либо чувствую бессилие моей молитвы»
>
> *(Матери. Иерусалим, 19 февраля 1848 г.).*

> «Все это (принятие Св. Тайн у Гроба Господня) свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно — не знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только взлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность»
>
> *(графу А. П. Толстому, 25 апреля 1848 г.).*

9
Духовное просветление (1848–1851)

Пятого февраля Гоголь приехал в Иерусалим, а в конце апреля он был уже в России; едва только ступил на русскую землю в Одессе, как тотчас же написал смиренное письмо отцу Матвею. В нем он снова жалуется на свою черствость, на опасность своего положения, на соблазны духа искусителя и прибавляет:

> «Скажу Вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима», — и просит молиться за него: «Слезы, в эту минуту упавшие на этот лист бумаги, просят вас о том же».

Из Одессы Гоголь поехал к родным в Васильевку, где пробыл всю весну и лето. Только первые три-четыре дня он чувствовал себя хорошо; потом начались сильные жары, Гоголь заболел желудком, боялся холеры; от «адской духоты» нервы его расстроились, занимался он с трудом; его грызла тоска. По свидетельству Кулиша, «в последнее пребывание Гоголя дома веселость уже оставила его. Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: «И все вздор, и все пустяки».

А вот несколько отрывков из дневника сестры Гоголя Елизаветы Васильевны:

> «1848 г. 9 мая, именины брата.
>
> Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам! Как мне это было больно!
>
> 22 августа. Сегодня брат хотел уехать, но, слава Богу, отсрочил еще до понедельника. Вчера мы все плакали. Тоска ужасная. Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает…»

В сентябре Гоголь приезжает в Москву. Он напуган политическими событиями (революционные брожения в Европе) и переносит свое личное уныние на все человечество. Кажется ему, что весь мир охвачен безумием, что все гибнет и распадается. Данилевскому (24 сентября 1848 г.) он пишет: «Никто не в силах вынести *страшной тоски* этого рокового переходного времени, и

почти у всякого *ночь и тьма вокруг*. А между тем слово «*молитва*» до сих пор еще не раздалось ни на чьих устах». Та же мысль развивается в письме к отцу Матвею:

> «А между тем в теперешнее время, когда отовсюду грозят беды человеку, может быть, только и нужно делать, что молиться…Слышишь одну необходимость повторять: «Господи, не введи меня во искушение и избави от лукавого».

Тревожное состояние Европы, эпидемии и голод в Малороссии, собственная черствость и страх за свою душу — все это питало в Гоголе предчувствие конца света. В письмах его попадаются такие выражения, как: «отовсюду грозят беды», «всеобщее разрушение», «потрясающая бестолковщина времени», «время опасное», «время беспутное и сумасшедшее», «время содомное» и т. д. Но к зиме душевное состояние его резко изменяется к лучшему. Аксаков сообщает в своих записках, что «Гоголь был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием; я никогда не видал Гоголя так здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, т. е. в ноябре и декабре 1848 и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но и тело на нем сделалось очень крепко…Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки…»[7]

Зима 1848–1849 гг. была для Гоголя временем не *только* восстановления физических сил; параллельно с этим шло душевное успокоение; тон писем становится бодрее: можно предполагать, что в это время он понемногу изживал свой религиозный кризис. Вера его, после кратковременного шатания, укрепилась; упорной работой над самим собой он освобождался от остатков эгоцентрической замкнутости. Это период аскетического очищения жизни и душевного просветления.

В религиозном возрождении Гоголя главная роль принадлежит о. Матвею Константиновскому. Как известно, вопрос об отношениях Гоголя и отца Матвея очень занимал биографов; было высказано много догадок и построено много гипотез. Наиболее блестящая из них принадлежит Д. С. Мережковскому. Любитель резких противоположений Мережковский изображает отца Матвея мрачным аскетом — изувером, внушившим писателю мысль об *уничтожении* «Мертвых душ» и тем убившим сначала его душу, а потом и тело. Рассказав о смерти Гоголя, автор заключает: «Борьба была окончена, совершилась «страшная месть»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться». Мы знаем, что Гоголь в своих произведениях хотел посмеяться над чертом; значит, под «не-

человеком» Мережковский разумеет одновременно о. Матвея и черта или просто считает о. Матвея чертом. Излишне говорить, что все эти эффекты ни на чем не основаны. Приписывать влиянию о. Матвея сожжение второй части «Мертвых душ» вполне произвольно; изображать священника Константиновского в виде Савонаролы нельзя, так как это противоречит фактам. Отец Матвей был не фанатик-изувер, а простенький, застенчивый, ничем не замечательный уездный батюшка.

В «Жизни и трудах Погодина» Н. Барсукова об о. Матвее сказано следующее:

> «Он был невысок ростом, немножко сутуловат, у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко вьющиеся светло-русые с проседью волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьянина села Езька или Диева отличал только покрой его одежды…Правда, во время проповеди (он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя живым народным языком), а также при совершении литургии лицо его озарялось и светлело; но то были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании которых наружность его принимала свой обычный незначительный вид».

А вот другое свидетельство. И. Л. Щеглов («Гоголь и о. Матвей Константиновский». Новое время, 1901) сообщает со слов оптинского инока о. Э. В.:

> «Несокрушимость его (о. Матвея) веры являла иногда примеры поистине невероятные…Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызвали к Тверскому архиерею и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой: «Не верю, ваше преосвященство». — «Как ты смеешь так отвечать?» — загремел владыка. «Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой высокой чести». Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое».

Наконец протоиерей Ф. И. Образцов в своих воспоминаниях об о. Матвее (Тверские Епархиальные Ведомости, 1905) пишет:

«Говорят, что о. Матвей был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в о. Матвее. Напротив, он всегда был жизнерадостен; *мягкая* улыбка очень часто виднелась на его *кротком* лице; никто не слыхал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса; всегда был ровный, спокойный, самообладающий. Жизнь вел строго воздержанную…

Ворота его дома всегда были открыты для странников, — нижний этаж дома постоянно был занят ими…

…Проповедь о. Матвея всегда была импровизированная, на текст дневного Евангелия. Простота слов, живая образность поражали слушателя, искреннее убеждение неотразимо действовало на сердце».

Прекрасный проповедник, простой «народный» батюшка, совсем не богослов, но человек, заслуживающий уважения, священник, лицо которого «озаряется» во время совершения литургии, таков был о. Матвей. Где же тут демонический «не-человек»?

Просмотрим теперь письма Гоголя к о. Матвею. Первое письмо — при посылке «Переписки»: просьба дать отзыв и молиться за автора; отношения еще самые далекие. «Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете», — пишет Гоголь. Из второго письма явствует, что отец Матвей осудил «Переписку» и написал Гоголю, что тот даст за нее ответ Богу. Гоголь не соглашается с такой оценкой, спорит и доказывает, что намерение его было доброе и что книга его полезна. По возражениям его можно заключить, что о. Матвей не одобрил главным образом статью о театре. Но автор остался при своем мнении. По сравнению с обличениями Аксакова, Белинского, духовных и светских рецензентов замечания о. Матвея были незначительны и особого впечатления на Гоголя не произвели.

В следующем письме о. Матвей, успокаивая Гоголя, советует ему не оправдываться перед критиками «Переписки», «слушаться духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей» и «поворотиться во внутреннюю жизнь»; в своем ответе Гоголь объясняет о. Матвею, почему он занимается литературой. Из текста письма отнюдь не следует, что о. Константиновский внушал Гоголю бросить литературу, однако под влиянием письма батюшки о духовной жизни Гоголь задумался о совместимости духовного пути с путем писательским и пришел к выводу: «Закон

Христов можно исполнять также и в звании писателя. Если писателю дан талант, то верю, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое». Письмо написано с дружеской откровенностью и любовью к о. Матвею. «О, как бы мне хотелось открыть Вам всю душу, — восклицает Гоголь, — быть у Вас в Ржеве, исповедаться и сподобиться причащения Тела и Крови Христовой, преподанных рукою Вашей».

Перед отъездом в Иерусалим Гоголь снова пишет о. Матвею; из его оправданий ясно становится, к чему сводились возражения о. Матвея на «Переписку». «Я, *точно*, моей опрометчивой книгой, — пишет Гоголь, — показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства». Вот драгоценное признание. Гоголь мечтал о вселенском учительстве, и о. Матвей справедливо упрекнул его в гордыне. В конце письма Гоголь прибавляет:

> «Поручение Ваше исполняю: Евангелие читаю и благодарю вас за это много». После возвращения из Святой Земли он пишет о. Матвею из Одессы, благодарит батюшку за то, что тот «положил себе молиться о нем всякий день».
>
> «Часто я думал: за что Бог так милует меня и так много дает мне вдруг».

Еще одно короткое письмо из Москвы от 9 ноября 1848 года, и переписка прерывается на два года. Наконец в 1850 году Гоголь сообщает о. Матвею, что «создание его уже обдумано и готово» и что он только ждет «орошающего освежения свыше», а «как бы хотелось сердцу поведать славу Божию». В заключение просит батюшку молиться, чтобы он мог закончить свой труд. Это письмо окончательно рассеивает все недоразумения, накопившиеся в литературе вокруг отношений Гоголя и о. Матвея: если бы о. Константиновский осуждал литературную деятельность Гоголя и внушал ему отказаться от художественного творчества, тот не мог бы обратиться к нему за благословением своему труду.

Мы приходим к следующим выводам: познакомившись через графа Толстого с ржевским священником, Гоголь сразу почувствовал духовную высоту этого скромного батюшки-мужичка. Отец Матвей осудил «Переписку» за отсутствие в ней подлинного христианского смирения и за претензию автора на вселенское учительство. Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к о. Матвею, признавшись ему, что теряет веру;

о. Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис.

* * *

Последние годы Гоголь прожил в аскетической бедности и бездомности, но дух его, несмотря на развивавшуюся болезнь, был светел и душевное состояние радостно. Распространенное представление о Гоголе как о суровом аскете, постепенно погружающемся в мрак религиозного помешательства, совершенно ложно. Вернувшись в Россию, писатель постепенно оправляется от тяжких потрясений, пережитых в связи с изданием «Переписки»…«Авторская исповедь» не печатается, а сдается в архив: она больше не соответствует его душевному состоянию. Под непосредственным впечатлением поражения автор заявлял в «Исповеди», что отрекается от писательства и собирается поступить на какую-нибудь скромную должность. Вернувшись из Святой Земли, он от этого малодушного решения отказывается и приступает к писанию второй части «Мертвых душ». Еще летом в Васильевке он пытался начать работу. Н. Кулиш рассказывает со слов домашних, что Гоголь по утрам работал у себя во флигеле. «Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал своего посетителя на пороге, с пером в руке, и если не мог удовлетворить его коротким ответом, то обещал исполнить требование после; но никогда не приглашал войти к себе, и никто не видал и не знал, что он пишет».

Но работа на лад не пошла. «Брался было за перо, — пишет Гоголь Плетневу, — но или жар утомляет меня, или я вовсе еще не готов». Только в конце ноября в Москве он приступает к писанию:

> «Соображаю, думаю и обдумываю второй том «М. Д.». Читаю преимущественно то, где слышится сильнее присутствие русского духа»
>
> *(Н. А. Плетневу, 20 ноября 1848 г.).*

Три года прошло со времени сожжения первой редакции второго тома. В «Переписке» автор пытался доказать необходимость этой жертвы; в то время появление второго тома было бы только вредным: в нем выведено было столько прекрасных характеров, что русские люди могли возомнить о себе и расхвастаться. И писатель понял, что «бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к

прекрасному, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главным; а потому он и сожжен».

Итак, задачей новой второй редакции поэмы должно быть не столько изображение прекрасного, сколько *указание на пути и дороги к нему*. Цель — чисто учительская или, точнее, *методологическая*. «Мертвые души» должны были иллюстрировать взгляд на искусство, изложенный в «Переписке». Он сводился к тому, что искусство — путь к Богу. Художник должен сначала сам обратиться к Христу, а потом с помощью посланного ему Богом таланта привести к нему и других. Концепция искусства выражена Гоголем в следующих словах:

> «Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо с Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставить ему *незримые ступени* к христианству…Среди света есть много такого, что для всех отдалившихся от христианства служит незримой ступенью к христианству. Такую роль играет театр и искусство вообще».

Теория, по которой искусство есть приманка, хитро завлекающая людей в сеть христианства, едва ли соответствует духу православия. Любопытно, что из всей «Переписки» именно эта статья — «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» — вызвала решительную отповедь о. Матвея. И это лишний раз свидетельствует об его духовной чуткости. Итак, поэма должна указать пути и дороги к Богу. Какой конкретный смысл вкладывал Гоголь в эти слова? Переписка последних лет ясно отвечает на этот вопрос: писатель, признавая свое незнание России, старался изучить ее с самых различных сторон: географической, этнографической, лингвистической, социальной, государственной и т. д. И одновременно с этим он пытался проникнуть в русский дух, в сущность русского национального характера. Для этого он напряженно работал над коренной переработкой своей художественной манеры: он стремился к *реализму* в описании внешней обстановки и *психологизму* в изображении характеров.

О том, как Гоголь осуществлял программу письма, помещенного в «Переписке с друзьями» и озаглавленного «Нужно проездиться по России», мы знаем из воспоминаний А. О. Смирновой и М. А. Максимовича. Летом 1849 года писатель

гостил в Калуге у Смирновой, муж которой был тогда губернатором. Дорогою Гоголя занимало: как ему покажется губернский город, как будет устроен губернаторский дом и вообще, каков будет быт губернатора и всего, что его окружает… Он очень любил видеть за губернаторским обедом чиновников и говорил, что это «так следует». За столом он всегда разговаривал с чиновниками и был с ними очень любезен.

Следующим летом 1850 года Гоголь едет с Максимовичем в Малороссию. Спутник его рассказывает, что эта поездка на долгих была для писателя как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии.

> «Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве…во-вторых, чтобы изучить проселки Русского Царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом».

Присоединим к этим воспоминаниям рассказ Арнольди о том, как Гоголь во время своих поездок по России тщательно расспрашивал всех встречных, «а в городничего впился как пиявка и не уставал расспрашивать его обо всем, что его занимало».

Свидетельство Максимовича о желании Гоголя написать географическое сочинение о России подтверждается письмом писателя к А. Ф. Орлову. Гоголь просит графа ходатайствовать перед наследником о выдаче ему вспомоществования для того, чтобы он мог сделать три летние поездки во внутренность России и три зимние пребывания за границей: это помогло бы ему окончить не только «Мертвые души», но и еще одну «необходимую и нужную у нас книгу». И Гоголь продолжает:

> «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России».

Материалы для этого географического сочинения сохранились; они изданы Г. Георгиевским («Гоголевские тексты». II. 1910 г.).

О стремлении к психологизму свидетельствуют герои, выведенные в дошедших до нас главах второй части:

Тентетников, Бетрищев, Улинька, Хлобуев — характеры более сложные и «натуральные», чем Манилов или Собакевич. Да и характер самого героя поэмы, Чичикова, во второй части усложнен и углублен.

Н. Д. Мизко рассказывает, что в бытность свою в Одессе в 1851 году Гоголь говорил ему:

> «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биография или записки действительно жившего человека».

* * *

Начиная с конца 1848 года тянется цепь жалоб на лень, вялость и медленность работы: на Гоголя находит то «бесплодное и черствое состояние», то «уныние и хандра», то «умственная спячка», то «неписательское расположение». И несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, к началу 1850 года «все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как *набросаны*: собственно написанных две-три, не больше» (письмо к Плетневу от 21 января 1850 г.). Это был первый набросок; он перерабатывался в течение всего 1850 года; в окончательной форме вторая часть «Мертвых душ» была готова к лету 1851 года. Вот что об этом пишет Гоголь Плетневу (июль 1851 г.):

> «Пишу тебе из Москвы, усталый, изнемогающий от жару и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами по части приготовления к печати «Мертвых душ» второго тома, и до того изнемог, что едва в силах водить пером».

Второй том был начат в 1840 году. Работа над ним продолжалась одиннадцать лет. Но даже и после того, как текст был готов к печати, Гоголь не переставал переделывать и переписывать его. Незадолго до кончины он писал С. Т. Аксакову, сообщавшему ему об окончании своих «Записок ружейного охотника»:

> «Если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, *и я как-нибудь управлюсь*».

Духовно-аскетическое значение работы над поэмой в жизни Гоголя глубоко понято Анненковым. «Мертвые души», — пишет он в «Воспоминаниях», — были *подвижническая келья*, в которой Гоголь болел и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее».

Редактор сочинений Гоголя В. В. Калаш в предисловии ко второму тому «Мертвых душ» пишет следующее: «Взыскательный художник и моралист вступили в душе Гоголя в смертельную борьбу, и в результате от всего второго тома нам осталось несколько набросков и сбивчивых свидетельств современников». Эти слова выражают общепринятый взгляд исследователей на сожжение «Мертвых душ». В гоголевской литературе существует столько распространенных и тем не менее ни на чем не основанных взглядов, что не следует ничего принимать на веру. Утверждение В. В. Калаша сводится к следующему: борьба в душе Гоголя кончилась тем, что моралист убил художника и вторая часть поэмы оказалась неудачной; тогда «взыскательный художник» отомстил моралисту тем, что сжег «Мертвые души». Следовательно, в душе Гоголя происходил конфликт между эстетикой и моралью; он уничтожил свое произведение потому, что оно не удовлетворяло его *эстетически*.

Все это построение из области чистой фантазии. Попытаемся вернуться к действительности.

1) Если бы Гоголь переживал этот конфликт, он не мог бы не отразиться на его обширной переписке последних годов. Между тем в ней мы не встречаем ни намека на что-либо подобное. Гоголь постоянно жалуется на медленность и вялость работы, на отсутствие вдохновения и «неписательское» настроение, но никогда не говорит, что он не удовлетворен своим произведением. Напротив, он твердо верит в громадную значительность того, что пишет.

2) Со времени издания «Переписки» и провозглашения искусства «невидимыми ступенями к христианству» Гоголь решительно и окончательно рвет с эстетикой: всю молодую русскую литературу он оценивает только с точки зрения «*духовной статистики Руси*», «зеркала действительности», «познания русского быта». Поэтому о «взыскательном художнике» вообще нельзя говорить: он уступает место бытописателю-моралисту.

3) Да и была ли вторая часть поэмы действительно неудачей? В том виде, в каком она до нас дошла, она несомненно слабее первой. Несмотря на отдельные великолепные фигуры Петуха, Тентетникова, Бетрищева, общее впечатление — усталости и тусклости. Но не следует забывать, что перед нами только

черновики и над ними автор собирался еще много работать; кроме того, лучшие сцены, о которых восторженно отзывались Максимович, Шевырев, Смирнова и Арнольда, не сохранились. Нельзя говорить о «бледности» и «идеальности» некоторых действующих лиц второй части на основании отрывочных набросков: друзья Гоголя, слышавшие поэму в ее законченном виде, свидетельствуют единодушно о ее живости и реализме. Приведем несколько отрывков.

Вот рассказ Л. И. Арнольди.

> «Когда Гоголь окончил чтение, то он обратился ко мне с вопросом: «Ну, что Вы скажете? Нравится ли Вам?» — «Удивительно, бесподобно, — воскликнул я. — В этих главах *вы гораздо ближе к действительности*, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений, а описание сада — верх совершенства».

А. О. Смирнова, вспоминая о чтениях Гоголя, говорила, что первый том совершенно побледнел в ее воображении перед вторым:

> «Здесь юмор возведен был в *высшую степень художественности* и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух».

И, наконец, свидетельство С. Т. Аксакова, эстетический вкус и нравственная чуткость которого не могут быть оспариваемы; вот что он писал под непосредственным впечатлением чтения Гоголя:

> «Такого искусства показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе…Да, много должно сгореть жизни в горниле, из которого истекает чистое золото».

На основании всех этих данных мы заключаем: вторая часть «Мертвых душ» вовсе не была поражением писателя — нравственный пафос не только не убил художника, но, напротив, расширил его кругозор, привел к пристальному изучению России

и сделал его основателем натуралистической школы в нашей литературе. А потому, пора перестать оплакивать судьбу великого писателя, впавшего в мрачный мистицизм, в некую mania religiosa, и тем загубившего свой талант. Предвидим одно возражение: допустим, скажут нам, что вторая часть поэмы *объективно* не была неудачей; это не имеет значения для объяснения загадки сожжения поэмы: совершенно достаточно, если *субъективно*, самим автором она воспринималась как поражение.

Это возражение опровергается фактами: Гоголь был удовлетворен результатом своей одиннадцатилетней работы. Несмотря на постоянные болезни, в последний год своей жизни он был спокоен и радостен. Доктор Тарасенков рассказывает, что «в последнюю зиму Гоголь был постоянно погружен в себя, задумчив, неразговорчив, как всегда, но, казалось, был веселее обыкновенного. В последнее время он в тайной задушевной беседе объявил, что он довольнее своими последними приготовленными трудами»[8].

С другой стороны, психиатрический анализ Баженова («Болезнь и смерть Гоголя». Русская мысль, 1902, № 1–2) отмечает ровное течение болезни в 49–50 гг. и *улучшение* к концу 51-го.

Все встречавшие Гоголя в 1851–1852 году говорят о нем как о веселом, остроумном, подвижном человеке, а не изможденном, ушедшем от мира аскете. Гостя у Смирновых, он шалит и возится с детьми, которых обожает; путешествуя на долгих с Максимовичем, он то и дело выскакивает из экипажа, бегает по полям, собирая цветы для гербария сестры; в доме Аксакова он готов плясать под любимые малороссийские песни. К концу жизни Гоголь представляется нам духовно просветленным, радостным, внутренне удовлетворенным: плоть свою он не умерщвляет, мира не проклинает, а, напротив, страстно любит природу, цветы, песни, детей; становится проще и добрее.

* * *

В 1851 году летом Гоголь едет из Москвы в Васильевку на свадьбу своей сестры; не доехав до Калуги, заболевает и, вместо того чтобы продолжать путь в Малороссию, отправляется в Оптину Пустынь, в монастырь, в котором он побывал в 1850 году и который оставил в душе его «самое благодатное воспоминание». Проведя там несколько дней, он возвращается в Москву. О почтительной любви Гоголя к старцам Оптиной Пустыни можно

судить по его письмам к иеромонаху Филарету и к отцу Петру Григорову[9].

В июле Гоголь гостит в Спасском у А. О. Смирновой.

> «Однажды хозяйка нашла его в необыкновенном состоянии. Он держал в руке Четьи-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собою что-то восхитительное. Когда А. О. заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие такого-то святого».

Под влиянием бесед с монахами Оптиной Пустыни, чтения Евангелия и Четьи-Миней и аскетического труда над «Мертвыми душами» Гоголю открывается новый образ христианства; он преодолевает в себе ту концепцию «христианского хозяйства», которая была не чем иным, как сведением чичиковской жажды наживы к «прекрасному источнику». Он не думает больше, что идеальный христианин должен быть непременно хозяином, который не имеет права отказываться от богатств. В последний год жизни Гоголь благодарит Бога за то, что он скиталец, все имущество которого вмещается в одном чемодане, что он «бездомный странник» и бедняк. Теперь он возлюбил бедность и проповедует не обогащение, а бескорыстие. «Довольство во всем нам вредно, — пишет он к матери в апреле 1851 года, — человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему жить в безнуждье и довольстве». О том же пишет он к сестре Елизавете:

> «Милая сестра моя, люби бедность. Тайна великая скрыта в этом слове: кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат».

К последним месяцам жизни относится окончание «Размышлений о Божественной Литургии», задуманных в 1845 году. Много лет изучал Гоголь богословскую литературу и чин Литургий Восточной Церкви. По словам доктора Тарасенкова, незадолго до смерти «он окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20-ти лет (?); наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего

имени, единственно ради поучения и пользы всех сословий. Это сочинение названо «Литургия».

Работа Гоголя и до наших дней является одним из самых проникновенных и духовных толкований Литургии.

Автор «Мертвых душ» шел к Богу не путем любви, а путем страха. Он видел в Нем грозного карателя и боялся вечного наказания. Но после религиозного кризиса, на конце жизненного пути он пришел ко Христу — Искупителю. Во вступлении к «Размышлениям о Божественной Литургии» Гоголь пишет:

> «Вопли услышались: явился в мир, Им же мир бысть: среди нас явился в образе человека…не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, и не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет, послышалось кроткое лобзание брата…»

В этих словах — «Ныне отпущаеши» Гоголя. Чувство Христовой милости и всепрощения наполняет его духовной радостью.

Второй своей сестре, Ольге, Гоголь пишет за два месяца до смерти:

> «Нам следует ежеминутно благодарить Бога, благодарить Его *радостно, весело*. Не быть радостным, не ликовать духом — даже грех.…Вся наша жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью благодарения Богу».

Нельзя без волнения читать слова, писанные Гоголем Жуковскому за три недели до кончины:

> «Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть *гимн Красоте Небесной*».

В этот день, 2 февраля 1852 года, Гоголь достиг вершины своего духовного пути. В его торжественных словах — увенчание дела всей жизни: «пропеть гимн Красоте Небесной…»

10
Смерть

В конце января 1852 года О. М. Бодянский навестил Гоголя и застал его за работой полным сил и энергии; Гоголь пригласил его на музыкальный вечер и обещал за ним заехать. Но вечер не состоялся. 26 января умерла жена А. С. Хомякова, сестра покойного друга Гоголя поэта Языкова. Эта смерть потрясла Гоголя; после панихиды, глядя на лицо покойницы, он сказал: «Ничто не может быть торжественнее смерти; жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти».

Хомяков рассказывает об этом следующее:

> «Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душой, особенно Н. М. Языков. На панихиде он сказал: «Все для меня кончено».

С этого момента, рассказывает Кулиш, он почувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его, именно что на него «нашел страх смерти».

Гоголь пророчески изобразил свою смерть в «Старосветских помещиках»; с детства он панически боялся таинственного зова среди бела дня, «после которого следует неминуемо смерть», и умер по той же причине, по которой умер Афанасий Иванович.

> «Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович»…

> «Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его: он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя».

Это — точный диагноз болезни самого автора: Гоголь умер, потому что его позвала умершая Хомякова; он тоже «покорился» и тоже «истаял, как свечка».

Поверив в неминуемость смерти, писатель стал готовиться к ней подвижнически: говел на масленице; «перед принятием Святых Даров у обедни пал ниц и долго плакал». Большую часть ночей проводил без сна в молитве.

«Ночью с пятницы на субботу (8–9 февраля) он изнеможенный уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал за приходским священником, объяснил ему, что недоволен недавним причащением и просит тотчас же опять причастить и соборовать его, *потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя умирающим*. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших»

(А. Т. Тарасенков).

Плетнев писал Жуковскому:

«Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и кротко: «Оставьте меня, мне хорошо».

Друзья обратились к авторитету митрополита Филарета, и тот от имени Церкви велел больному подчиниться врачам, но он отказался.

* * *

В ночь на 12 февраля Гоголь сжигает «Мертвые души». По словам Погодина, придя в комнату, «он велел подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук…После того как обгорели углы у тетрадей, Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и, уложив листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал».

На другой день Гоголь сказал А. П. Толстому:

«Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти».

Доктор Тарасенков, лечивший Гоголя, рассказывает о сожжении несколько иначе:

> «Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: «Вот это я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, — вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил; это был венец моей работы: из него могли бы все понять и то, что неясно было у меня в прежних сочинениях…А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал:
>
> «Это хороший признак — и прежде вы сжигали все и потом писали еще лучше. Значит, и теперь это не перед смертью. Ведь вы можете все припомнить». «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу, у меня все это в голове», — и, по-видимому, сделался спокойнее, *перестал плакать*»[10].

Обратимся к рассказу Н. Кулиша. «В понедельник на второй неделе поста духовник предложил ему приобщиться и пособороваться маслом. На это он согласился с радостью и выслушал все Евангелия, держа в руках свечу, проливая слезы. Во вторник ему как будто сделалось легче, но в среду обнаружились признаки жестокой нервической горячки, а утром в четверг 21 февраля его не стало»[11].

За несколько дней до смерти Гоголь с усилием написал:

> «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.
>
> Помилуй меня грешного, прости Господи. Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста.
>
> Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок. И страшнее истории всех событий Евангель…»

* * *

Врачи разошлись в диагнозе болезни Гоголя; по-видимому,

это была нервная горячка на почве истощения и острого малокровия мозга. Другими словами, Гоголь просто уморил себя голодом. Хомяков объяснял его кончину страхом смерти, «религиозным помешательством». Но можно предположить и иное. Гоголю было послано свыше откровение о смерти, он перестал бороться за жизнь, последние драгоценные дни употребил на христианское приготовление к великому таинству.

Вернемся теперь к вопросу о сожжении «Мертвых душ». В событии этом есть тайна, которая навсегда останется тайной. Мы уже говорили, что гипотеза о конфликте моралиста с художником должна быть отстранена. Почему же Гоголь сжег свою поэму?

На панихиде по Хомяковой Гоголь говорит мужу покойницы: «Все для меня кончено».

Как Афанасий Иванович, он слышит голоса, предсказывающие ему смерть. Он уверен, что скоро умрет, настолько уверен, что почти перестает питаться. Мирские дела для него не существуют; две мысли делят между собой его сознание: достойно, по-христиански, приготовиться к смерти и распорядиться своим имуществом. Гоголь жил в полной бедности, но у него были рукописи. Как следовало с ними поступить? В конце января в Москву приезжает отец Матвей и остается до 5 февраля. В течение этого времени Гоголь несколько раз с ним подолгу беседует. Об этих беседах сохранился рассказ самого отца Константиновского, переданный прот. Образцовым («Тверские епархиальные ведомости», 1902 г.). Гоголь читал отцу Матвею вторую часть «Мертвых душ», и тот советовал не опубликовывать тех глав, где был изображен священник. «Это был живой человек, — рассказывал батюшка, — которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых *во мне* нет, да и к тому же с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник». Более снисходительно, но все же неодобрительно отнесся о. Матвей к изображению генерал-губернатора.

По дошедшим до нас отрывкам второго тома мы можем судить о справедливости критики о. Матвея. Действительно, генерал-губернатор один из самых неудачных образов в поэме. Еще более естественно нежелание о. Матвея видеть в печати изображение священника, в котором странно сплетались его личные черты с «католическими оттенками». С мнением о. Матвея *Гоголь не согласился*; можно предположить даже, что, находясь в крайнем нервном возбуждении, он отвечал на критику о. Матвея в самом резком тоне: не успел тот уехать, как Гоголь, раскаявшись в своей горячности, пишет ему извинительное письмо.

«Отцу Матвею. 6 февраля 1852 г. Москва.

Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг милость Божия, чьими-то молитвами, посетила и меня жестокосердного и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко. Но об этом что говорить. Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечной благодарностью и за гробом,

ваш весь Николай».

Однако, несмотря на это сердечное письмо, совету о. Матвея Гоголь все-таки не последовал, а через пять дней после его отъезда принял совсем другое решение: он сделал А. П. Толстому предсмертное распоряжение о своих произведениях, поручая часть их напечатать, а часть отдать на просмотр митрополиту Филарету. Это значит, что, неудовлетворенный мнением о. Матвея, Гоголь решает обратиться к высшему церковному авторитету: к тому же среди его рукописей находилась вполне отделанная работа «Размышления о божественной Литургии». Кажется естественным, что писатель, не будучи богословом, хотел представить это сочинение на суд пастыря церкви. Разговор с Толстым происходил 10 февраля, а в ночь на 12-е Гоголь сжигает рукописи. Событие это может быть объяснено в двух планах, между собой не соприкасающихся, а потому и не противоречащих друг другу. Первый план — психологический; ночью Гоголь внезапно чувствует, что умирает; страх смерти затемняет его сознание. К этому присоединяется приступ его обычной нервной болезни: гиперболической работы воображения. О симптомах ее Гоголь рассказывал Ф. В. Чижову в 1849 году.

«У меня все расстроено внутри: я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начинает развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы».

Если такой ничтожный повод мог вызвать в воображении Гоголя «страшные призраки», то что должно было происходить в его несчастной душе при приближении смерти? В эту минуту каждая неотделанная строка, каждый неудачный образ, каждое двусмысленное слово разрастались кошмаром. Возможно, что припомнились и неодобрительные слова о. Матвея и уж теперь прозвучали угрозой вечных мук. Намереваясь уничтожить *эти главы*, Гоголь в состоянии невменяемости сжигает и несколько

других. Когда он приходит в себя и замечает свою ошибку, то говорит Толстому: «Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти». В. Гиппиус («Гоголь». Ленинград, 1924 г.) убедительно доказывает, что у нас нет оснований считать эти слова Гоголя мистификацией. Бросил в огонь тетради, перевязанные тесемкой, не посмотрел, сжег по ошибке и то, что не хотел сжигать. Если бы хотел сжечь всю вторую часть, то почему «забыл» в шкафу рукопись с четырьмя первыми и одной из последних глав поэмы?

Наконец, Погодин в статье о последних днях Гоголя, помещенной в «Москвитянине» непосредственно после смерти писателя, приводит слова, сказанные им слуге Семену сейчас же после сожжения: «Иное надо было сжечь, а за другое помолились бы за меня Богу, но Бог даст, выздоровею и все поправлю». Это свидетельство вполне совпадает с рассказом Тарасенкова о разговоре Гоголя с графом Толстым.

Несомненно, что Гоголь совершил сожжение в состоянии умоисступления; очнувшись, он раскаивался в нем и плакал.

Таково объяснение в плане психологическом; но возможно и другое объяснение, в плане мистическом; оно вполне законно, так как относится к мистику, который, подобно всем духовидцам, переживал состояния благодати и безблагодатности, имел видения света и тьмы и с сознательного возраста вел упорную и тяжкую борьбу со злыми духами. Не признать реального вмешательства дьявола в жизнь Гоголя — значит зачеркнуть весь духовный его путь.

Ту особенность своего душевного состояния, о которой Гоголь рассказывал Чижову и которую мы назвали гиперболической работой воображения, писатель воспринимал также и в образах мистических. Неудачу «Переписки» он объяснял «чудовищной преувеличенностью», до которой были доведены в ней некоторые, по существу правильные мысли. И в этом видел он вмешательство темной силы. «А дьявол, который тут как тут, — писал Гоголь отцу Матвею в 1848 году, — раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было даже и без умысла учительствовать».

В трагическую ночь на 12 февраля в душе Гоголя свершилась последняя борьба с дьяволом. Дьявол «раздул до чудовищной преувеличенности», до «страшных призраков» его сомнения в пользе своего литературного наследия. Он подсунул ему тетрадки, перевязанные тесемкой, он заставил его бросить их в огонь.

«Вообразите, как силен злой дух!» — сказал Гоголь

А. П. Толстому. А в предсмертной молитве написал: «Прости Господи. Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста».

Последнее испытание было пережито. Гоголь причастился, соборовался и сподобился христианской кончины.

11
Заключение

Оглядываемся на путь, пройденный нами по следам Гоголя. Одно впечатление преобладает над всеми: жизнь Гоголя полна таинственного смысла и трагического величия. Прав Иван Аксаков, сказавший о Гоголе:

> «Жизнь его представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго неразгаданным».

Думаем, что смысл жизни Гоголя не будет никогда разгадан; он лежит в той области, на пороге которой изнемогают все человеческие домыслы.

Но какой скорбный, какой страшный путь! Какими непрерывными, многообразными и изощренными страданиями куплено его величие! Жизнь Гоголя — сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир sub specie mortis, боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, — этот же человек «сгорал» страстной жаждой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя — сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу.

В Гоголе дано наивысшее напряжение противоположностей, наибольшее раздвоение.

«Я не знаю, — пишет С. Т. Аксаков, — любил ли кто Гоголя. Я думаю, нет; да это и невозможно. Вот до какой степени Гоголь для меня *не человек*, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь».

И тот же С. Т. Аксаков заявляет:

> «Я признаю Гоголя *святым*, это истинный мученик нашего времени и в то же время мученик христианства».

И «не человек», и «святой» — это масштаб души Гоголя.

notes

Примечания

1

Подтверждение этому мы находим у Нащокина (П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине. М., 1925). «По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Но Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывая ему покровительство…»

2

Эта мысль интересно развита в книге Б. Шлецера (B. de Schloezer. Gogol. 1932).

3

Мысль эта развита подробно в статье В. В. Зеньковского «Gogol as Denker» (Zeitschrift für slavische Philologie. Band IX, Het 1–2, 1932).

4

Выражение Н. А. Бердяева. См. его книгу «Новое средневековье». Берлин, 1924.

5

См.: Мережковский. Судьба Гоголя. Новый путь, 1903.

М. О. Гершензон. Исторические записки. М., 1910.

7

О той же перемене в Гоголе свидетельствует княжна В. Н. Репнина (Русский архив, 1890): «Прежде ему ясны были люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу… Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством».

Подтверждение словам А. Т. Тарасенкова мы находим в дневнике Никитенко, который со слов кн. Д. А. Оболенского пишет, что Гоголь «был доволен своим трудом».

9

«По словам современников, Гоголь в Оптиной Пустыни был два раза, хотя весьма вероятно, что он был гораздо больше. Особенно сильно приковывали к себе внимание Гоголя старцы Моисей, Антоний и Макарий… Высокий и подвижнический ум старца Макария более всего привлекал к себе душу Гоголя… По воспоминаниям современников, отношения между Гоголем и старцем Макарием были самыми искренними. Все вопросы и сомнения своей души Гоголь нес на разрешение инока, который с дружеской готовностью выслушивал и давал советы и указания» (Д. П. Богданов: «Оптина Пустынь и паломничество в нее русских писателей». Исторический вестник, 1910).

10

А. В. Никитенко, со слов князя Д. А. Оболенского, записал в дневнике: «Гоголь кончил «Мертвые души» за границей и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А. П. Толстой, с которым он был в постоянной дружбе. Гоголь сказал ему: «Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их, на меня находят часы, когда это все хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего». Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т. п., и ему не хотелось исполнением просьбы как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. «А вот, — сказал ему Гоголь, — ведь лукавый меня таки попутал: я сжег «Мертвые души». Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти».

11

За несколько часов до смерти Гоголь «бормотал что-то невнятное, как бы во сне, и повторял несколько раз: «Давай, давай. Ну что же?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорей давай лестницу!» Казалось, ему хотелось встать (А. Т. Тарасенков).